

Вацлав Дворжецкий

ПУТИ  
БОЛЬШИХ  
ЭТАПОВ

## ТЮРЬМА

Киевская Лукьяновская тюрьма – «Лукьяновка».

С.К.-7-2. – Следственный корпус, седьмой коридор, вторая камера. Одиночка.

Ноябрь 1929 года. С пересылки привезли ночью, в «чёрном вороне» (Ч. В.) – это большая закрытая железная грузовая будка с одиночными отсеками внутри и охраной сзади. Процедура оформления заняла часа три.

Формуляр: фамилия - имя - отчество, год рождения, место жительства, работы, родители, родственники, оттиски пальцев рук, цвет волос, глаз, рост, национальность, образование...

Дальше – фото, стрижка, баня. И всё время один.

Почему один? Чувствуется дыхание множества людей, запах цирка и палёной серы, старых лежалых тряпок и пота человеческого.

Вот почему один: в одиночку привели. Узкая высокая камера с железной койкой у стены, такая же табуретка и в углу ведро...

Зачем ведро? (Позднее я узнал, что это «параша».)

Дверь захлопнулась, загредел засов, зазвенели ключи, замок. Заперт! В двери – форточка, в форточке – глазок. Сзади, высоко в нише, – узкое окно, решётка, на нише – глубокая трещина (царапина). Это след от пули. Толщина стены, видимо, больше метра. Пол цементный – пять шагов вдоль, два поперёк. Лампочка электрическая над дверью под потолком. Всё... Что дальше?..

Вещей у меня никаких: взяли на улице. Родители ничего не знают... Будут искать, конечно...

Новая, другая жизнь начинается. Фаза. Страница! Новая глава – в 19 лет! Бог знает, что ждёт впереди, но уже ясно, что прошлое рухнуло, что будущее полно тяжёлых неизвестных испытаний. Надо быть готовым ко всему самому худшему и надо выстоять, выдержать, вытерпеть.

И вдруг: тук, тук, тук! Что это?

Стучат в стенку! Послышалось? Нет! Опять стучат! Со временем (а времени хватало) в сознании оставалась какая-то закономерность, последовательность: вначале много стуков подряд («Вызов!»), затем стуки в определённом ритме

(«Слова!»). И всегда – завершение в ритме «ламца-дрица-ламца-ца» («Конец!»).

В чём же ключ?

Однажды в туалете оказался обрывок бумаги, на нём написано: «буквы 5 x 5».

Потом (не сразу) осенило: «Это же расположение букв для перестукивания!»

Скорее бумагу, карандаш! Расчертить, расписать буквы по клеткам.

А теперь попробовать записать какое-нибудь слово цифрами-стуками на бумаге. Самое подходящее и короткое – «Привет»!

«П» – это третья строчка, пятый ряд – «3 - 5», «р» – четвёртая строчка, первый ряд – «4 - 1». И дальше «и» – «2 - 4», «в» – «1 - 3», «е» – «2 - 1» и, наконец, «т» – «4 - 3» – «Привет»!

А как же паузы между буквами? Сообразил, что ровный ритм, который часто повторялся, мог означать эти паузы. А периодически повторяющиеся три удара – конец слова. Обратил внимание и на то, что только 25 букв из 33 вошли в таблицу. Догадался, что не вошли те, без которых в крайнем случае можно обойтись: вместо «э» – «е»; вместо «ю» – «у»: вместо «щ» – «ш», вместо «й» – «и», а «ь» и «ъ» не нужны.

До всего этого пришлось догадываться месяца два.

А теперь можно пробовать!

Ну, с богом!.. Сначала постучать пальцем по книжке – потренироваться тихонько. «Вызов» – тук, тук, тук! Пауза (ждать ответа). Так... теперь слово «Привет» – шесть букв. Выдержать ровный ритм... медленный темп, чтобы не сбиться. Ну: раз, два, три – паузочка, раз, два, три, четыре, пять – пауза, дальше: 4 - 1, 2 - 4, 1 - 3, 2 - 1, 4 - 3 – три стука. Ещё раз! Ещё раз! Ритм выдерживать! Не сбиться бы!

Теперь можно постучать в стенку... Вдруг не ответит?! Вдруг надзиратель услышит? Смелее! Тук, тук, тук, тук... тишина... (А сердце колотится...) И вдруг: «тук, тук, тук, тук»! – ответ! Начал: 3 - 5, 4 - 1, 2 - 4, 1 - 3, 2 - 1, 4 - 3. Тук, тук, тук. И «ламца-дрица-ламца-ца» (залихватское)! Пауза... как понял? И вдруг оттуда сразу быстро: «Привет!» – то есть 3 - 5 и т. д. Ура! Значит – правильно! И ещё стуки, много, но ничего пока непонятно. Это только потом, через полгода легко удавалось «читать» стуки на слух. Даже отдельные стуки из других камер в другие стенки. «Окно в мир» открыто!

Постепенно стало известно всё: фамилии, профессии, возраст всех моих «соседей». О «делах» никто не сообщал, а новости с воли приходили.

Открывшаяся возможность общения очень поддержала, укрепила дух.

Одиночка. Окно, видимо, на юг, так как лучи солнца в одно и то же время, в середине дня проникают и ложатся ненадолго

на стенку. Было интересно отмечать карандашом эти следы. За тринадцать почти месяцев на стене получился «веер» полосок...

На бетонной стене много «отметок». Камера, в которой, между прочим, сидел Бауман («Грач – птица весенняя»)... А вот гравировки вязью: «Из-за политики украинской вышиванной сорочки невинно здесь томился русский инженер». Камера стала уже домом родным. Особенно когда возвращаешься после допросов – длительных, изнурительных, мучительных. Сразу стучишь в стенку, сообщая или узнаёшь новости... И книги есть, и бумага, и карандаш, и читать-писать можно, только свет очень плохой. Тусклая лампочка светит под потолком день и ночь. А книги приносит заключённый-библиотекарь с надзирателем. Выбирай: «Анти-Дюринг», Пушкин, Спиноза, Жюль Берн. Много книг, которые на воле изъяты. Например: Отто Вейнингер, Ницше. Как раз то, за что забрали и посадили в тюрьму.

Теперь, в ходе следствия, уже выяснилось, в чём «дело». Следствие – это отдельная тема. Потом... А «дело» серьёзное. Студенты – пять человек в возрасте 18-19 лет – образовали кружок «ГОЛ» – «Группа освобождения Личности».

Что мы там делали? Собирались изредка вечерами у кого-нибудь на квартире или в общежитии, читали Гегеля, Шопенгауэра, Спенсера, вслух читали. Разбирали, спорили. Говорили о свободе мнений, о свободе совести, о праве на убеждения, ратовали за открытые дискуссии, за свободу слова

и печати, за свободу разных партий, за демократию, против диктатуры.

Было много наивного, даже малограмотного, но много было честного, чистого в спорах, мыслях. «Хорошо было до революции! Было с кем вести борьбу: царь, помещики, капиталисты, всякие угнетатели и эксплуататоры. Но теперь? Советская власть! Все враги свергнуты. А свободы нет! Плохо живём! Почему? Кто виноват? С кем бороться конкретно? Как бороться?» Программы никакой не было, плана никакого не было. А что-то делать надо?! Во-первых, энергии до чёрта, потом – запретов много. А когда пошло интенсивное «избиение» нэпа – совсем стало невольно: и галстук – нельзя, и фокстрот-чарльстон – нельзя, в «строю» все время нужно быть, ругать что велят, хвалить что требуют. Тупость, ограниченность, ритуальность, муштра... «Коллектив! Коллектив! Коллектив!» Масса!

А личность? Где она? Что с ней? Интеллигенция замерла. Вокруг – «советские служащие». Если кто из студентов чем-либо выделялся, он – «белая ворона!» Лекции скучные, занятия неинтересные, спорт – ГТО – примитивно, энтузиазм плебейский.

Ой, как хотелось расшуровать, раскатать, сдвинуть что-то с прямолинейности, «ковырнуть» корку, заглянуть в серёдку, взорвать, увидеть, услышать, попробовать...

Стоп! Нельзя! Нельзя! Ничего нельзя! Лермонтова нельзя – он шотландский дворянин! Достоевского нельзя – он провокатор! и предатель! Оперу слушать нельзя – это искусство дворян! Ужас! Ну вот и возникла «Группа освобождения Личности» – пять человек, «конspirаторы-борцы»...

Хотелось что-то открыть, ниспровергнуть, жертвовать всем, рисковать. Было интересно и тревожно носить в себе тайну, быть конспиратором.

После 1925 года былая «разногласица» молодёжи стала резко ограничиваться, зажиматься, и уже примерно к 1928 году оставалось место только для комсомольской песни и лозунга: «Кто не с нами – тот против нас!» Для общей массы «общежителей»-студентов политика – это «мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем», а нэп – это «нэпманы».

Всё шумело вокруг... Украинские националисты (ОУН), Скрипник, польский театр закрыт, обыски, спекулянты, пятилетка, вредители, индустриализация, «Долой церкви и попов!», Днепрострой, кулаки и... Маяковский! Вот такая «каша»! И стихийно возникали какие-то интеллектуальные кружки. Вот и «ГОЛ» тоже. Но до этого был «АДХ» – «Ассоциация декадентских хулиганов» (срывали плакаты, «вырубали» свет во время собраний), затем «Банда рыжих» (собирались по детекторному приёмнику, читали стихи Саши Чёрного, Хлебникова, Бурлюка, Блока, Маяковского).



Так какое обвинение предъявят мне? За что арестовали? Кто донёс? Как себя вести?

Как? Конечно, независимо, смело, твёрдо: не бандит, не уголовник. Свобода – вот платформа! Преступления не было! И никого не выдавать! Никто ни в чём не виноват!

А страшно... Тюрьма... одиночка... ночь. Скоро допрос. А мысли опять идут по кругу. «Как там родители? Они ничего не знают. Сколько боли, горя им уготовано. И сестру очень жаль. Отец... Господи! Вспомнить страшно, как они трудно-нищенски жили последние годы! А я? Чем я облегчил им жизнь? Что я сделал для того, чтобы они, Родители мои, любимые Мама и Папа, мученики разрухи и голода, труженики мои дорогие, чтобы они были счастливы? Что я сделал?..»

## СЛЕДСТВИЕ

Ужасно медленно тянется время! День... час... минута... Мучительно... бесконечно.

Не вызывают. Не объясняют ничего. Надзиратель молчит. Выводят на прогулку одного, в закрытый дворик, на пятнадцать минут. Два месяца – как десять лет! Шестьдесят дней и шестьдесят ночей... один. Мысли, мысли, мысли... Знают ли родители, где я? В Запорожье ведь задержали, на улице, и в квартиру не пустили за вещами. В подвале каком-то на соломе ночевал. На работе ничего не знают... В кузнечном цеху только стенгазету закончил. К празднику, к Октябрю. Не успел вывесить!.. Сволочи! Я им говорил – буду жаловаться! Молчат. И ремень брючный забрали. Три рубля халвы купить! Ведь хотелось! Не купил... а теперь куда их, три рубля?.. Из подвала еле-еле слышно кто-то поёт: «Ты жива ещё, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет!..» Гады! И поесть не дали... Который час, интересно?.. Люсенька... Вчера утром письмо получил. Не ответил... Отобрали письмо... Фу! Солома какая-то вонючая... Холодно... Темно...

Утром загремели засовы, принесли поесть... Не могу...

— Выходи с вещами!

Какие вещи? Штаны в руке, чтобы не свалились... Куда? Может, выпустят? Как же! Знал бы, когда забирали, что это через адских десять лет будет, — сбежал бы! А ведь зря не сбежал! Можно было: в поезде повезли, в общем вагоне. Один охранник. И не связан был, и ремень вернули, и ничего не писали... А паспортов в то время не было ещё вообще. Думал, ошибка. Разберутся — отпустят.

Такие вот мысли и сейчас даже, после двух месяцев одиночки...

А тогда? В Киеве повёл меня мой охранник пешком по Бибииковскому бульвару, в сторону Бессарабки. Очутился я в большом зале, а там — битком! Еле протиснулся. Сидели на полу, спина к спине, коленки в коленки. Всю ночь так. Сосед справа, пожилой, в пенсне, форменная фуражка инженера, говорит:

— Все сегодня поступили. Киевляне.

Угостил меня бутербродом. Памятная ночь. Человек двести пятьдесят... Утром разобрали, развезли.

В одиночке хуже — как в гробу... Поговорить бы с кем... На допрос не вызывают... Послезавтра новый год — 1930-й...

Вдруг: «На допрос!» Как так? Ведь 31 декабря!

От Лукьяновки до центра (управление ГПУ) в «воронке» далеко. А там: «Руки назад!»

И по лестнице вверх. Один этаж, два, три. Пролёты перекрыты сеткой (чтобы не броситься вниз головой). Всё это как во сне и в то же время всё осознаётся чётко и ясно.

За письменным столом молодой человек в штатском. Расписался. Отпустил конвоира. Велел сесть.

Стул в двух метрах от стола, прикреплён к полу. Настольная лампа с зелёным абажуром. Уютно. Вежливые вопросы. Приятный голос: «Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения...» – и т. д. Всё аккуратно записано на листке «Протокол допроса». Рядом папка с какими-то бумагами.

Пауза...

Долго перелистываются какие-то бумаги... Следователь внимательно читает, перечитывает, останавливается, задумывается, покачивает головой, ухмыляется, иногда внимательно поглядывает на меня, опять возвращается к бумагам, постукивает как бы в раздумье пальцами по столу, вздыхает... долго так... Тишина. Часы на стене тикают и... сердце.

Я ведь ещё ничего не знаю! Первый раз. Что-то где-то когда-то читал, но... это со мной! И я не знаю, что все это игра. Думаю, что там, в бумагах, которые он так внимательно

просматривает, что-то про меня написано! Что, ну! Говори!  
Спрашивай!

Бесконечное молчание.

И вдруг щёлкает выключатель, в лицо мне ударяет яркий свет. Я уже не вижу человека за столом, слышу холодный голос, резкие слова:

— Имейте в виду – органам известно всё! В ваших интересах ничего не скрывать, признаться во всём, не пытаться нас обмануть!

— Я ничего не знаю... В чём вы меня обвиняете? Я ни в чём не виновен...

— Органы ГПУ никого зря не арестовывают! Ваше увиливание от чистосердечного признания будет расценено как враждебный выпад!

— Я не знаю, в чём мне признаваться...

— А вы признавайтесь во всём, – перебивает следователь. – Назовите всех и не надейтесь, что вам удастся что-нибудь скрыть от нас! Нам все известно!

Свет гаснет.

— Всё изложите вот на этой бумаге и распишитесь.

Входит ещё один человек. Меня переводят к столику у стены, на котором бумага, перо, чернила.

— С вами останется дежурный следователь, я скоро вернусь. Ушёл. Тот, другой, сел на его место, закурил:

— Пиши, пиши давай!

Что писать? Чего они хотят? Что им известно? А может, ничего не известно, может, поклёп какой? В чём могут обвинить? «ГОЛ» – это, конечно, «преступление», мы это знали и собирались тайно, но, во-первых, действия никакого не было, а во-вторых, никто же не знает про «ГОЛ», кроме нас, пятерых. Может, сболтнул кто? Из наших донести никто не мог! Если действительно «ГОЛ», я всё возьму на себя. А может, на заводе что-то случилось? Там, кажется, лозунг какой-то сорвали недавно. Кто-то портрет Троцкого на демонстрацию вынес... А может, наша «Банда рыжих»? Павлика мы уже неделю не видели, может, его раньше забрали? Или, может, каникулы в Шепетовке? Там граница рядом... Коля Мовчан тогда предупреждал – не ходите на свадьбу. Мы пошли. Нас тогда в сельсовет привели. Мы студенческие билеты показали... Чёрт его знает!

Что же мне писать?

Ничего не буду! Пусть делают что хотят!

Сидел я, сидел у столика и мучился...

А «дежурному», видимо, нужно было идти Новый год встречать...

Меня увезли обратно в тюрьму.

Здравствуй, «родная» камера. Каша холодная... Уснуть надо. Попробуй, усни... Ещё хуже, ещё тревожнее стало... Это надолго... Надо жить!

Со следующего дня я стал систематически заниматься гимнастикой и ходил по камере десять тысяч шагов. Обязательно десять километров ежедневно! Нечего ждать! Это надолго! Надо жить!

Месяц никуда не вызывали. Ни писем, ни передач, ни книг. «Следователь не разрешает». Приходил начальник тюрьмы: «Какие жалобы?»

Какие могут быть жалобы?

В соседних камерах та же картина. (Я уже перестукивался.) Продолжается истязание томлением, сомнениями, неясными тревогами... С ума можно сойти!

Наконец, повезли на допрос. Ночью. Со сна. Снова следователь начал меня «пугать».

— Обстоятельства осложняются. Если вы будете продолжать так себя вести, придется ужесточить условия содержания.

И я начал «хитрое наступление», начал говорить что-то о заводе, о «Банде рыжих», о Шепетовке со свадьбой, говорил

долго и невразумительно. Наконец следователь перебил раздражённо:

— Что вы мне голову морочите, рассказывайте, где вы собирались и как сговаривались свергнуть Советскую власть!

Я понял: всё дело в «Группе освобождения Личности»! Наконец я избавился от сомнений! Теперь я знаю, чего от меня хотят. Рано ты прекратил «пытку», друг следователь. Теперь я спокоен: «ГОЛ» – это моя идея! Моё убеждение. Имей мужество признаться.

Но откуда узнали? Ничего. Я всё скажу. Скажу всю правду, а называть никого не буду.

— Давай бумагу!

К утру исписал четыре страницы.

Вот что я там изложил: «Да – личность! Масса безлика. Человек! Его талант, способность, призвание, его ум, красота, всё – индивидуально! Нельзя всех стричь под «одну гребёнку». Долой «прокрустово ложе»! Только свобода личности – путь к максимальному раскрытию человеческих способностей с наибольшей пользой для общества! Вот идея «ГОЛ». Интеллигенция – передовая часть общества! И не следует «разрушать до основания» веками созданную культуру и искусство. Да, читали Спенсера, Гегеля, Достоевского и социалистов-утопистов. И монархистов. Всё читали, что удавалось доставать, и считаю, что это не вредно, а, наоборот,



полезно для каждого. И несправедливо ограничивать личность человека и навязывать ей «твёрдые установки поведения», запрещать анализировать события, запрещать думать. Это против природы Человека».

Всё, всё подробно писал. Цель была – не скрывать свои идеи и проповедовать Свободу. И декабристов вспомнил, и французскую революцию, и революционеров-демократов, и победу Октября. Никто не собирался «низвергать» Советскую власть, но пытаться совершенствовать её – долг каждого честного человека.

А рассказывать что-либо о «соучастниках», о своих единомышленниках и не намерен.

Было уже утро...

Днём меня опять увезли на допрос. Не успел выспаться, успел поесть. Привели в тот же кабинет. Двое незнакомых.

— Следователь Шмальц уехал. Я буду вести твоё дело... (Тогда я впервые услышал фамилию следователя, которого потом увидел в лагере, на острове Вайгач, в августе 1933 года. Подошёл первый корабль, высаживался очередной этап заключённых. Я встречал прибывших, искал актёров, исполнителей для «живгазеты». Среди заключённых я узнал Шмальца. Он меня тоже узнал. К сожалению, я не успел с ним поговорить. На этом же судне я был отправлен на материк.) Мы с тобой покруче поговорим, – продолжал следователь. — То, что ты тут нацарапал, уже на «десять лет» хватит, а если честно

расскажешь всё о вашей контрреволюционной организации, будет тебе облегчение. Обещаю. Сколько народу было? Кто поимённо? Где собирались? С кем связаны? Давай всё выкладывай!

— Я свои показания больше ничем дополнить не могу – всё написал, как было. Я за всё отвечаю. А товарищей своих называть не буду.

Помощник следователя подошёл и прикрепил меня к стулу, на котором я сидел, двумя ремнями – к спинке и к сиденью. Я не мог понять, зачем. Бить будут? И не привязывая можно.

И вдруг я почувствовал какую-то помеху на сиденье, прямо против копчика... Через час страшная, жгучая, ноющая боль пронизывала позвоночник до самого затылка. Онемели руки и ноги, потемнело в глазах, из носу пошла кровь. Я уже даже не слышал вопросов, но не мог не кричать, помню...

Развязали меня. Двое надзирателей на лифте спустили меня в подвал, в карцер. Я там отдохнул... на бетонном полу.

Не знаю, сколько времени прошло... Поднял меня надзиратель сапогом в бок. Суп принёс, хлеб.

— Давай, пошли на opravку!

— Ну да! «Пошли!» – ноги ватные, не держат.

Всё человек может вынести! Через пару часов я уже двигался, как живой. И опять был на допросе, и опять ничего

не сказал! Когда начинал кричать, рот завязывали полотенцем. Глупо: а если вдруг захочешь сказать? Ничего... Поймут: опытные. Глазами «скажешь».

Вот таким способом и не раз выясняли мои следователи «обстоятельства дела».

Прошёл год...

Я уже передачи получал от мамы, книги мне приносили, стихи писал. Не стригся ни разу – волосы на плечах... Ничего не подписывал. Били. Иногда держали на допросе сутками.

Сознание терял. Есть не давали. Следователи менялись, ели при мне жаркое, пили пиво.

Однажды, в мае уже, после длительного моего молчания следователь приказал увести меня, передав конвоиру какую-то бумажку. В лифте спустились в подвал. Я думаю – опять карцер. Нет. Поворот направо. Железная дверь. Часовой.

— Забери, – сказал конвоир и передал бумажку часовому. Часовой открыл дверь и велел идти вперёд. Длинный каменный низкий коридор, маленькие лампочки под потолком, под ногами лужи. За мной – шаги часового. Впереди – стена. Тупик.

— Стой! Руки на затылок! Не поворачиваться! – Щёлкнул замок пистолета...

Кирпичная стена... следы от пуль... Стоял, ждал... Почему-то смешно показалось вдруг.

Ну!

Ни о чём не думал. Тошнило только.

Часовой повёл меня обратно.

Не помню, как я оказался в «чёрном вороне».

Жизнь продолжалась. Май... Июнь... Июль... Август...  
Сентябрь... – это не месяцы, это – века.

Ещё один допрос. Незнакомый следователь велел написать подробную биографию. Написал. А в сентябре – очная ставка. Передо мной – друг мой, студент Василевский, член пятёрки!

— Знаком? Как фамилия?

— Василевский.

— Вместе работали?

— Учились вместе.

— Где встречались?

— В институте, в польском клубе.

— Назовите, с кем ещё встречались.

— У нас много студентов.

— Подпишите. Оба. Подписали. Всё...

А в ноябре я очень быстро подписал последнюю «бумажку»: «Решением особого совещания (окрэмной нарады) по ст. УК 58, пункты 11, 54/12 УК УССР приговорён к десяти годам с отбыванием в СОЛОВКАХ».

Меня перевели в общую камеру. Разрешили свидание с родителями. Я сумел даже передать маме свои записки, стихи и... волосы! Когда меня переселяли, велели постричься. Отказался. Я за этот год стал закоренелым «узником». Вёл себя независимо и, честно говоря, зачастую глупо. Ну, кому я и что хотел доказать своей «романтикой»? Но с волосами – это принципиально! Я не хотел потерять независимость! Внушал себе, что я свободен. Пользовался всеми возможностями, чтобы доказать это себе, чтобы утвердиться. В общем, я отказался стричь волосы. Начальник пришёл меня уговаривать. Я поставил условие: согласен постричься, но... переводите меня в общую камеру, а через час пусть придёт парикмахер и спросит: кто желает постричься? Я выйду и скажу: «Я желаю». Так и поступили. И волосы длинные мои я потом передал маме. Через десять лет они ещё сохранились.

Собирают народ в пересыльную камеру... Жаль, привык. Прощай, тюрьма! Ой ли? Много тюрем ещё ждало меня: Лубянка, Бутырка, Вятка, Архангельск, Омск... Но это – впереди. А пока – в путь!

## НАЧАЛО ПУТИ

Январь 1931 года. Поезд пришёл в Котлас. Главная пересылка УСЛОН – Управление северных лагерей особого назначения. Поезд особый из Киева. Четыре вагона пассажирских, с купе-клетками внутри, и пять теплушек – товарных вагонов с нарами и печками.

Этап прибыл. Разгрузка, перекличка, построение, «следование» к проходной... Легко сказать, а часа четыре прошло. Человек пятьсот прибыло. Женщины отдельно. Вьюга, холод, ночь.

Исключительно интересная процедура сдачи-приёмки «контингента»! Долгое-долгое ожидание у ворот. Наконец возвращается начальник конвоя, который передал формуляры начальнику лагерной охраны. Открываются ворота, выходят человек двадцать «дневальных» с дубинками и выстраивают коридор по десять человек с каждой стороны. Начальник охраны остаётся в зоне, а конвой окружает этап снаружи. Наконец начальник охраны приказывает: «Буду называть фамилии, отвечать: имя, отчество, статья, срок и бегом в зону!»

Кто расслышал, кто не расслышал: ночь, вьюга, из зоны светит сильный прожектор.

И вот тут-то начинается!

— Петров Иван Петрович, 58, десять лет.

— Бегом! На ходу отвечать!

И бегут в зону с вещами, с узлами, с корзинами, бегут сквозь «коридор» дневальных, а те подгоняют дубинками и матюками. Бегут старики, бегут больные, запаздывают, падают, поднимаются. Бегут сквозь строй в лагерь-пересылку «Котлас».

А потом долгая, изнурительная процедура. Вещи оставляй, в баню по десять человек заходи, одежду в жарилку сдавай! Стригут машинкой наголо и голову, и прочие места. В бане холодно и грязно, нет мыла, воды мало, приходится ждать в предбаннике одежду, разбирать вещи, которые остались, «следовать» в барак. Опять перекличка. В общем, до утра! А там – поверка. Опять выходи строиться. И оставаться надо в строю до отбоя – пока не закончится поверка по всему лагерю. Многие ведь на нарах остаются, живые и не живые, а «населения» десятки тысяч, много барачков, зоны в зоне, изоляторы, санчасть! Это видеть надо! Поверка!

Многие уже сидят на снегу, другие двигаются, греются, топают ногами. А что делать? Перед каждой колонной надсмотрщики-дневальные. Им тоже невесело, хотя они одеты

хорошо и у них перспектива: после поверки, каши и развода можно отоспаться в бараке.

Наконец – отбой! Звенит рельс.

— По баракам!

Надо быстро за миской смотаться и в раздаток – за кашей!

Эта наука уже через день усвоена! Всё надо делать быстро. В хлебрезку и за кашей, чтобы очередь поменьше, если в баню, чтобы мыло и шайку захватить, с кашей в барак побыстрее, чтобы перед разводом успеть отдохнуть, покурить. А то в рельс ударят на развод, а многие ещё в очереди за кашей и кипятком. Ориентироваться надо! Новые условия быстро изучать и осваивать, иначе опередят, оттолкнут, затопчут! Тут каждый за себя, за выживание, за лучший кусок, за лучшее место, за лучший бушлат, за лучшую лопату и... за лишнюю пайку! Это – главное! Средство выживания – пища. У вечно голодного «зека» всегда на уме: где бы чего достать пожевать? Любым способом! Есть сила – отобрать у слабого, есть возможность – украсть. И за счёт мёртвого поживиться не грех.

Из барака больные обычно на поверку не выходят, их пересчитывают на месте дневальные, а кто на верхних нарах – тех по ногам, и потом им приносят хлеб, кашу и баланду. Некоторые давно неживые, а соседи молчат и получают за них пищу. Или дневальные скрывают до поры, а кашей и хлебом торгуют. Не всех и на работу отправляют. Пересылка ведь! Народу много, работы мало. Лесопилка – за зоной и перегрузка



леса. А в зоне ежедневно формируются этапы. Каждый раз волнуешься: вызовут – не вызовут? Отправляют на лесозаготовки, на лесоповал. И часто прибывают новые этапы с разных концов великой России.

Тут, как в адском котле, всё перемешалось, все грешники, все нечистые, все «зеки»! Новички растерянные, старожилы хитрые, ловкие, «ласковые». Пожилые, интеллигентные люди жалкие, крестьяне тупые, безразличные, священники испуганные, над ними все издеваются, пока их не постригли наголо, а постригут, переоденут, смотришь – просто «зеки». Туркмены, узбеки, таджики и ещё каракалпаки – те быстро гибли. Умирили без болезни, без мучений, без шума. Сидят у стены на солнышке, хоть и мороз, сидят в халатах, в чалмах, в папахах, старики, сидят, молчат, ничего не едят и тихонько умирают.

Что ещё помнится хорошо – это речи. Перед строем каждого отправляемого этапа выступал начальник. Кто он? Какой начальник? Неизвестно. Выступал громко, внушительно и всегда одинаково: «Заключённые! Вы прибыли сюда на разные сроки для того, чтобы честным трудом искупить свою вину перед Родиной! Только трудом вы можете добиться сокращения своего срока заключения. В нашей великой стране труд является делом доблести и славы!

Труд поможет вам скорее выйти на волю и стать равноправными гражданами советской России!»

А дальше уже конвой командует: «Шаг направо, шаг налево считается побегом! Оружие применяется без предупреждения. Вперёд, следовай!» Завтра опять этап и опять та же речь. Оратор, возможно, другой. Они какие-то похожие: в добротных полушубках, белых бурках или валенках, в серых военных меховых шапках-ушанках. Никаких признаков различия, без оружия.

Вот в конторе они выглядят иначе: в шинелях или во френчах, украшенных ромбами, шпалами, кубиками.

Контора – большой двухэтажный бревенчатый дом с множеством комнат и длинными коридорами. С крыльцом! Вот с этого-то крыльца и выступали ораторы. Над крыльцом красный лозунг: «Тут не карают, а исправляют!» На бараках: «Позор нарушителю лагерного режима!» На воротах: «Работа освобождает!» Внутри барака: «Боритесь за чистоту!» Много разных красивых лозунгов и плакатов.

По лагерю всё время шатается народ. Придурки снег сгребают, на кухне дрова заготовливают, что-то разгружают. Среди них и услужливые, «вежливые» сексоты, готовые посочувствовать, выудить и продать с потрохами. Никто никому не верит, все чужие, все друг другу враждебны. И с вещами очень плохо. Ведь есть ещё какие-то вещи с воли! Ну, куда девать? Залезаешь спать, обувь оставляешь под нарами, утром встаёшь – нет обуви! А все остальные вещи или с собой, или на себе.

Пересылка! Соседи меняются, нет покоя, никого не знаешь. Правда, и здесь, на пересылке, много постоянных «жителей»: обслуга, контора, дневальные, охрана. Многие осели, крепко понаживились на пересыльных. «Барахла» вон сколько валяется, только успевай подбирать! В лагере за всё платить приходится: за лучшее место на нарах, за то, чтобы на поверку не выйти, за то, чтобы с развода вернуться, остаться в бараке, за то, чтобы поработать на кухне, в конторе, на складе, – за всё! Всё отдашь, что привез с воли: и тёплую рубаху, и кальсоны, и носки. И все эти «шмутки» за зону потом уплывают через бесконвойных, а оттуда прибывают деньги и продукты.

Среди «долгожителей» самый разнообразный народ. Художника одного, например, четыре года не посылали на этап: был нужен, жил при КВЧ, при клубе, писал лозунги и плакаты типа: «Даёшь индустриализацию всей страны!» (и улыбается этакий красавец, «социальный герой», с кувалдой на плече на фоне Днепростроя).

Тут и клуб был, зал человек на 200, и эстрада. Чаще всего в зале оформляли этапы, но и концерты устраивали. Артисты, музыканты попадались нередко. Их выявляли во время прибытия и потом привлекали в клуб. Завклубом долго была расконвоированная, а баянист чуть ли не постоянный.

В женской зоне, куда мужчинам запрещено входить, командовала старшая дневальная «Машка» – бой-баба, Мария Фёдоровна, бывшая фрейлина двора Ея Императорского

Величества. Материлась – жуть! – в «семь этажей» и командовала тут уже года четыре. А прибыла из Соловков.

Оттуда же – и князь Ухтомский, высокий, сухой старик, лет восьмидесяти, и княгиня Трубецкая с сыном. Князь Ухтомский ещё в двадцатом году был отправлен в Соловки пожизненно. Бумагой от Ленина ему разрешалось писать мемуары и запрещалось посылать его на работу. Потом отобрали и сожгли и бумагу, и мемуары... Дежурил в конторе дневальным, имел помощника-уборщика. А Трубецкую с сыном вскоре куда-то увезли (говорили, в Москву). Не на волю же!

Начальство, говорят, часто менялось. Прибывала комиссия, что-то разбирала, кого-то расстреливала, кого-то назначала. А ритм жизни не менялся. Этапы прибывали, убывали. Гремели подъёмы, отбои, поверки, разводы. Штрафников-отказчиков, «бегунов» – ставили к проволоке под конвой, мёртвых вывозили ночью на плоской телеге, а то и днём, если за ночь не управлялись. Телега прикрыта брезентом, а ноги, руки свисают, болтаются. Голых вывозили: одежда живым сгодится!

Высшее начальство к десяти утра «как штык» являлось. Оно жило в городе, на квартире. Приезжало в коляске, но, конечно, не в той, что «голых» вывозила, а лошадь, возможно, была та же. Лошади всё равно кого возить – сено, овёс дают... И зекам всё равно, лишь бы пайку давали. Жить! А там видно будет! Важно приспособиться, не высываться.

Если вдруг вызывают к оперу – идёшь с дневальным, холодок под ложечкой: «Чего бы? Хорошего не жди!» Или настучал кто, или в изолятор? И если опер за стол посадит, чаем-бутербродом попотчует – всё подписывай, что скажет, и ни в чём не перечь! Холодок-то из-под ложечки и уйдёт... временно. Ты же особый. 58-я, 10 лет, и это только начало пути, а выжить надо! Всякие приказы приходят из ГУЛАГа, и всякие комиссии бывают, всё ведь засекречено, всё может случиться. Выжить надо! Вся жизнь осталась там, на воле! А может, то был сон? Или это сон? Нет! Это не сон.

Беспрерывно хочется есть. Скоро хлеб будут давать, хоть бы горбушка досталась! Мечта! Тупеешь жутко! Нет книг, газет, радио, никакой информации, никакой связи с домом – без права переписки! Подъём, поверка, каша, развод, баланда, пайка, поверка, отбой! Ночь. Два ряда трёхэтажных нар. Верхний этаж сплошной. Два фонаря «летучая мышь» – у двери и в конце (у окна), две железные печки в проходе. Две параша у входа. Ночью выходить в лагерь запрещено, утром дежурные выносят параша. Двести человек в бараке и двое дневальных – в специальной загородке. Ночь. Храп. Вонь! Опять подъём, поверка, каша, развод! Всё повторяется, как заведённый механизм...

И вдруг – аврал! Эвакуация лагеря! Ликвидация!

Сразу отменили развод. Прибили на ворота большую вывеску: «Общежитие рабочих Северолеса. Котласское отделение». Лозунги снимали. Людей стали выводить

по спискам, группами, с вещами. Хлеба выдавали на пять дней. Погружали в товарные вагоны, надписывали мелом: «пропс», «баланс», «шпала», пломбировали вагоны и загоняли в тупики. Делалось всё быстро, организовано, по заранее намеченному плану.

В зоне шла полная перестройка. Появились разные вывески и плакаты. Например, «Клуб рабочих Северолеса». В бараках убрали нары, привезли и поставили койки с постелью, тумбочки и прочее. Сплошная маскировка.

Что случилось? Оказывается, приказ ГУЛАГа. Франция, Швеция и некоторые другие западные страны заявили, сволочи, протест по поводу якобы принудительного труда в РСФСР! И отказались, гады, покупать лес! Экспорт леса шёл через Архангельск. На погрузке работало много заключённых. Летом лес доставляли по Сухоне, Вычегде и Северной Двине сплавом, плотами и на баржах. В Архангельске на огромной бирже этот лес сортировали и погружали в вагоны или корабли. На брёвнах надписи: «Спасите наши души», «СОС!» Фамилии заключённых, адреса лагерей, количество заключённых и прочее.

Всё это стало доходить до мировой общественности. Появились воззвания, протесты, требования. И, наконец, Лига наций приняла решение – всё проверить на месте. Создали комиссию.

Готовилась она долго. Наконец сообщение: «Проверочная комиссия направляется в Котлас». Приказ ГУЛАГа: срочно ликвидировать Котласскую пересылку. И решение: людей – в товарные вагоны и в лагеря Севлага, а пока – в тупики!

И вот товарный вагон, без нар и без печки. Решётки на окнах, дыра зарешеченная в середине. Солома на полу. Пятьдесят человек, заключённых на разные сроки, по разным статьям, разного возраста. Ну, тут сразу своя власть – власть сильного! И хлеб, и бушлат, и солому отберёт! Или сопротивляйся из последних сил, или отдай всё сразу и помирай. А есть сила – забери у соседа! Надо выжить! Никакой жалости, никакого сочувствия, никаких других мыслей и желаний, только выжить! Не околеть, не замерзнуть, не сдохнуть с голоду. Выжить! Ещё сутки! Ещё день! На третий день без воды выли всеми тупиками, всеми вагонами!

Это надо слышать, видеть! Выли, орали, стучали те, кто ещё был жив! Далеко был слышен звериный, страшный ор! Некоторые, более дружные, раскачивали и переворачивали вагоны, ломали их. Стрельба, шум, крики. Привезли наконец кипяток, перегрузили всех в этапный эшелон. Опять перекличка.

Мёртвые остались, живых повезли. Опять своя власть, опять пересортица людская, опять драки. Поехали! Куда!

## ЭТАП

Дай бог памяти! Признаться, многое крепко засело в памяти! Зафиксировалось как на фотографии: «Кто не был, тот будет, кто был, не забудет!» И не мысли, не чувства, не переживания, а факты, события. Чувства и мысли невозможно запомнить, если их описывать, непременно всё будет окрашено отношением «из сегодня», а факты не выдумаешь. Пятьдесят лет прошло, а всё помнится! Закроешь глаза – вот оно всё! И запахи. Запахи остались до сих пор. Запах этапа – всей длинной серой колонны – это запах пота, смешанный с запахом серы, навсегда пропитавшим одежду в жарилке, в вошебойке. Запах костра на стоянке, сохнувших портянок, подгоревших валенок, запах снега, какой-то кисловатый, отдающий сосновой корой. Запах хлеба, того хлеба! Самый чудесный запах! Этот кусок «чёрной глины» жуёшь, нюхаешь, вдыхаешь с наслаждением и не торопись, чтобы полностью впитать этот источник жизни. Вот ощущение, которое запомнилось! Не разукрасишь, не добавишь – хлеб.

Везли эшелонем трое суток до станции Луза. Ехали с остановками. Кормили баландой раз в сутки. Видимо, в эшелоне



был вагон, в котором готовили пищу, и вагон с конвоем. На остановках конвоир вызывал трёх дежурных, они приносили бачок баланды в 25 литров и мешок с пайками по 400 граммов на 50 человек. В бачке – черпак. На месте разливали «суп» и раздавали хлеб. В этом же бачке приносили кипяток. У каждого вагона конвоир. Вокруг лес. Через час вагоны закрывали, поезд следовал дальше. «Кормёжку» эту надо видеть! Кто раздаёт пищу? Тот, кто захватил «власть» в вагоне! Группа здоровенных парней-уголовников распоряжается всей жизнью! Кому черпак, кому два, кому половину, а кому и ничего не достанется. Жаловаться некому. Из пятидесяти человек уже через сутки пятерых недосчитались, потом ещё троих... Их складывали в один угол, рядом с «доходягами» – теми, чей черед скоро наступит.

Холодно не было. Пятьдесят человек в теплушке! Пар через окошки выходит. Стены инеем покрыты, с потолка капает. Надышали. Пока дышат...

Урки на нарах в карты играют, в стос и буру, на чужие шмутки, на чужие пайки. Кто-то стонет, скорчившись на соломе, кто-то спустил штаны над дырой в полу, кто-то ходит лихорадочно от стенки к стенке, переступая через лежачих, курят (передавая друг другу «бычок»), махорку выторговывают за хлеб. Ругаются, дерутся за место. Редко объединяются. Дружны только воры, и то лишь потому, что «паханы» «права качают». Командует один главный, самый известный и популярный рецидивист – вожак блатных. Он говорит тихо, солидно, мало говорит, но каждое его слово – закон! Все живут

по «старородским законам» и пользуются «феней» (жаргоном). Помощники у него – воры («люди»). А дальше вся мелочь, шпана: «урки», «жлобы» и «фраера» – для того, чтобы их «косили» (обирали, обманывали, били).

Дисциплина у блатных страшная! За проступок – смерть! И никуда не спрячешься! Ни в другой этап, ни в другой лагерь, ни на волю, ни в тюрьму. Везде «свои», везде найдут, и возмездие настигнет. А главные проступки – «скурвиться» и «заиграться». Первое – значит выдать кого-нибудь из своих, а второе – проиграть в карты и не рассчитаться. Со временем «скурвиться» стало означать – пойти на работу: воры не работают, не «втыкают!» «Жлобы» пусть втыкают, на то они и жлобы!

С блатными справиться лагерное начальство не могло нигде! (Только потом, на Беломорканале, при «перековке».) Везде командовали «паханы». Не страшны ни карцер, ни изолятор. Какая разница? У пахана на нарах всегда постель, пара полушубков, жратва «от пуза», курево и даже выпивка! Откуда? Все воры – «отказчики». А если, бывало, силой под конвоем вывезут в котлован или лесоповал – сидят у костра, в карты играют! А паханы «уходили» и с воли командовали, если не было рядом пахана посолиднее. «Уходили» незаметно, непонятно, тихо. Побег всегда был организован хорошо. И охрана подкуплена (не продаст никто), и транспорт устроен, и «ксивы» (документы) нужные есть, и запасы на дорогу.

А все остальные зеки в этапе редко объединялись. Интеллигентные – инженеры всякие, вредители и прочие

«контрики», – те просто боялись друг друга, не доверяли: «А вдруг провокатор?» Никогда не рассказывали о своём «деле». Все были осуждены «ни за что». К «простым» людям снисходили: «Товарищ! Оставьте покурить!» Простые (чаще всего крестьяне) не отказывали, относились к интеллигентам с уважением, даже, бывало, место уступали или ложку одалживали даром. Интеллигенты были самыми неприспособленными... Бытовые тяготели к уркам. Заигрывали, подражали, пытались приблизиться. «Мелюзга» (ворье) пользовалась этим, а «люди» и паханы презирали подхалимов, не замечали их или велели бить без всякой причины.

К интеллигентам блатные относились по-особому и по-разному. Если урки любопытничали и подворовывали, то паханы, бывало, пытались пообщаться. Особенно с артистом. К таким у больших воров особое отношение: «Отнеси-ка вон тому папаше пайку». Выдавали всё, что положено, не обижали, не издевались.

Над попами издевались до безобразия и над сектантами. Сектанты стоически терпели, не сопротивлялись: «Христос терпел и нам велел». Они были счастливы! Это надо видеть! Святые! С улыбкой переносили все страдания, с каким-то вызовом, с восторгом фанатиков! До последнего вздоха. И умирали, как в рай уходили. Чудо! Это непостижимо, невероятно!

И в лагере тоже издевались над сектантами, главным образом охрана: за невыход на работу, за неповиновение

раздевали догола, ставили к проволоке под конвой, обливали водой на морозе. Стоит молодой, худой, стриженный. Улыбается, молится, стоит, за проволоку колючую держится, стоит, не сдаётся, уже не молится, ещё улыбается... уже мёртвый стоит. Он в раю! «Христос терпел и нам велел»...

Шёл поезд из Котласа до станции Луза. Ехали люди в этом поезде. Разные люди. Заключённые в вагонах-теплушках. ЭТАП.

На третьи сутки, ночью, вдруг неожиданная резкая остановка. Гудки, выстрелы, крики! Оказалось, в одном из вагонов выломали решётку из дыры в полу и бежали человек двадцать уголовников. Поезд шёл на подъёме медленно. Люди выпрыгивали под вагон и выкатывались между колесами на полотно, под насыпь – и в лес! Ушли все. Один только под колеса попал. Поезд остановился, стреляли. А кто в лес побежит? Куда? Да и конвоя не хватает. Поехали дальше. Через три часа Луза.

Выгрузились, пересчитались (многие «остались» в вагонах, за ними потом придет телега с брезентом), накормились и пошли. Думали – в лагерь, ан нет: в лагерь только больных отправили. Дальше следовать приказано!

Куда? Сплошной лес. Узкая дорога, малонаезженная, снег глубокий. Куда? Мороз. Пошли. Кто как может. Сзади телега с вещами конвоя и довольствием, за ней – походная, военная кухня. Значит, будут кормить.

Уже к концу дня стали отставать старики. Тащились с трудом, вещи побросали по дороге. Часто приходилось останавливаться. Кормёжка, перекличка, ночлег. Костры. Конвой поставил себе две палатки – впереди и сзади. Кухню перевели на середину: всё же народу около пятисот человек. Разрешили нарубить лапнику для подстилки. Отдыхай кто как, кто где. По сторонам колонны большие костры и конвой. Конвоя мало, всего человек двадцать. Ни одной собаки. Часть конвоя отдыхает, часть дежурит. Молодой начальник с ног сбился, охрип, мотается вдоль колонны туда и обратно. Не спит. Говорят, уже сегодня убежали двое. А идти ещё двое суток! До седьмого рабпункта Пинежского участка. Там идёт строительство железной дороги Пинега – Сыктывкар – очередной гигант индустриализации – 31-й год.

Ночь прошла. Как? Кто отдохнул, кто «остался отдыхать».

Как спали? Что снилось? Что там, дома, за тысячи километров? Редко вспомнишь – некогда! Подъём, перекличка, кипяток, хлеб. Пошли дальше.

Плетётся колонна зеков по узкой зимней лесной дороге. Конвой покрикивает: «Не отставай!» И вдруг: «Стой! Стреляй! Ложись! В бога душу мать!»

Впереди двое, нет, трое прыгнули налево – и в кусты, в лес через глубокий снег. И сзади, говорят трое, и все в разные стороны. «Лежать!» Выстрелы. Пули свистят над головами. Все лежат на дороге, не шевелятся. Конвой следит уже не за теми,

кто убежал, а за лежащими. За беглецами двое налево и направо подались в лес. Стреляют. Снег глубокий, солдатику быстро бежать трудно, стреляет, не попадает, ели густо стоят, кусты. А те, кто бежит, – они жизнь свою спасают! У них не то что «второе» – «четвёртое» дыхание открывается. На что только не способен организм человека в минуту смертельной опасности!

Лежит колонна на дороге полчаса, лежит, не шевелится. Никого не поймали. Кого там убили – неизвестно. Кончилась стрельба. «Становись! Стройся по четыре! Опять переключка. Через два часа пошли.

Уже третью ночь не останавливались на ночлег, осталось до лагеря два часа идти. Шли четыре. Вот он, лагерь! Как мечта, как дом родной. Огни на зоне. Прожектор на проходной. Собаки лают. Бараков не видно в темноте, только столбы дыма на почему-то светлом небе. Опять будет передача «контингента» охране, баня, барак, поверка, каша... Дошли! Кончился ЭТАП!

## ПОБЕГ

1931 год. Лагерь большой. Много бараков, много печей – нужны дрова, много дров. Вокруг лес. Дремучий, непроходимый. Туда отправляли людей для заготовки дров. Нужно выбирать сухостой, разделять на метровые бревна, складывать в штабеля, ветки сжигать на кострах. Далеко вокруг по лесу разбросаны штабеля дров. Заготовщики после работы привозили дрова в лагерь. Изредка посылали ещё группы с дровнями – санями без лошадей. Человек тридцать, четверо саней и четыре конвоира, как правило. Километрах в десяти от лагеря находили штабеля, загружали сани, везли дрова в лагерь. Тащить гружёные сани нелегко, для этого подбирали людей здоровых, сильных, молодых.

Лагерь есть лагерь! Что тюрьма, что клетка – одно. Неволя. Тяжёлая работа, плохая пища, худая одежда – это всё привычно в нашей «весёлой» жизни и на свободе, но неволя, тюрьма – к этому привыкнуть нельзя! Можно приспособиться, притерпеться, но смириться? Никогда! Преодолевать нужно своё положение и состояние. По-разному можно пытаться преодолевать: работа, дело, как ни странно (если попробовать

увлечься делом), помогает, надежда на скорое освобождение, вера в правоту свою, вера в идеалы, вера в Бога. Стремление сохранить себя для жизни – это внимание к здоровью, гигиена, гимнастика и, наконец, постоянное и непрерывное обдумывание и планирование побега.

Не дай бог впасть в состояние безнадёжности: «Всё равно гибель... каторга... отсюда не выйти... всё пропало... бесполезно сопротивляться... ничего уже не поможет... конец». И, действительно, наступает конец. Человек не умывается, не раздевается, вши его заедают, он избегает работы, чахнет от тоски, ничему не сопротивляется, тихо гибнет, превращается в доходягу. Это, к сожалению, судьба и участь большинства интеллигенции.

58-я статья, 10 лет – «враг народа»... Такие быстро теряли надежду и никогда не подумывали о побеге. «Побег? Как? Куда?» Выпусти такого за зону – иди, мол, куда хочешь! – вернётся обратно и погибнет. И гибли. К тяжелому физическому труду неприспособленные, слабые здоровьем, легко ранимые духовно, в жутких лагерных условиях гибли лучшие умы и таланты русской интеллигенции.

Невосполнимая утрата...

После обеда опять отправили бригаду в лес за дровами. Третий раз почти те же тридцать человек (везде штамп), тоже четверо саней. День хороший, солнце. Скоро кончится зима. Запах свежей хвои, дым от костров (конвойные греются).



Грузят мужики дрова. Штабель от штабеля далеко, выбирают брёвна получше, носят с разных сторон, к разным саням. А эти вот, свои ребята, два раза были тут вместе...

Можно!

— Братва! Завалите меня в штабель. Останусь.

Завалили. А там носят бревна, грузят, увязывают. Пора возвращаться...

— Становись! – считают конвойные... пересчитывают, вроде не хватает одного... (О том, что один остался, знают только трое, они никому не скажут, боясь: виноваты.)

Опять пересчитывают. Одного не хватает!

— Ложись!

Все упали в снег. Двое конвойных остаются с винтовками наготове, а двое пошли искать.

Где искать? Штабелей много, вокруг лес густой. Ушёл ли, здесь ли спрятался? А уже начинает смеркаться, до лагеря идти более двух часов. И так уже завозились, как бы в потёмках остальные не разбежались.

Выстрелы! Это в воздух. Чтобы в лагере услышали (может, пришлют кого).

— Становись! Пошли! – По сторонам конвой и сзади двое, все с винтовками наготове. Пошли медленно...

А «заваленный» всё слышит, всё чувствует. Лежит на ветках, на снегу, поленницей дров прикрытый, продрогший, промёрзший, весь в поту – вот-вот обнаружат! Уже и не думается, какие там последствия... «Тише! Тише, сердце, не выдавай своим стуком!»... Стороной прогромыхали... ушли. А может, остался кто и ждёт? Сторожит? Не двигаться! Ждать. Слушать. Тишина. Сердце стучит. И вдруг совсем дикое ощущение: дальше-то что? Куда?

Когда шли в лес, ещё в первый раз, видел дорогу, потом говорили, что деревня близко. И второй раз оглядывался, уточнял (ведь задумал давно). И сегодня, когда шли, думал, куда следует уходить. Темнеет уже. Дорога где-то рядом. Нельзя по дороге двигаться: может быть погоня. Но пока там разберутся – кто? Список на вахте, но кого именно нет? А может, на выстрелы придут искать? Надо уходить поскорее.

Спина застыла, ноги затекли, онемели... Повернуться набок. А что если бревна не расшевелиятся? Похолодел весь... Ну! Ещё! Ещё сильнее и без шума... Подаются, сбоку свалились! Руку подвинул, поддел плечом... за шапкой наклонился... выглянул, вылез! Уже усталый, потный... уже дышать тяжело! А надо идти. Быстрее. Вот она, дорога!

Совсем темно. Лагерь позади. Пошёл! Вперёд. Свобода. Жизнь! Остановился, послушал тишину... Дальше... Спиной чувствуешь направление.

Быстрее, быстрее! Кажется – мчишься, а – ползёшь! Сил нет, вязнешь в снегу. Пни, валёжник, кусты. Лишь бы не сбиться, не свернуть с пути... А куда путь? Есть ли там та деревня? Далеко ли? Снег. Стволы, стволы.

Вроде светлее стало. От неба. От тёмного неба. Звёзды... вот одна справа, большая... А времени сколько ушло? Шёл, падал, вставал, шёл. Ничего не чувствовал, какое-то железное оупение... надо вперёд, надо идти! Отдыхать нельзя, замёрзнешь, а сил нет. Надо спастись, надо идти... Выбрался на поляну. Огонёк впереди... может, показалось?

У плетня, у самой избы лежачего облаивали собаки. Долго никто не выходил. Очнулся в избе на лавке. Щами пахнет. Баба онучи разматывает, ботинок с левой ноги стаскивает. Больно – значит, ноги целы. Запричитала: «Ой, сыночек!» Воды горячей в бадейку налила. Ноги в бадейку... «А ну-ка, поднимайся, горе горемычное». Ребята малые стоят, глазеют... Раздела, молоком горячим напоила, на печь уложила, полушубком прикрыла. «Спасибо, матушка...» А баба плачет: «Спи, Господи».

Сон... какой-то хороший, светлый...

Проснулся от удара прикладом!..

Потом в штраф-изоляторе рассказывали, будто в каждой деревне спецпосты. За выданного беглеца платят: две пачки махорки и пять фунтов муки...

«Спасибо, матушка...»

## ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР

Конец зимы 1931 года. Седьмой рабпункт Пинежского участка УСЛОНа ОГПУ. Это строительство железной дороги Пинега–Сыктывкар. Концлагерь. Лес, зона, ограда из колючей проволоки, вышки-будки на ограде. Внутри десять барakov. В самой середине ещё один барак, окружённый колючей оградой с двумя вышками, – это штрафной изолятор.

В лагере – нормальные «работяги», з/к. В изоляторе – штрафники. Их немного – сотни три. Они не работают. Они ждут... Одни ждут «вышку» уже после решения «тройки», другие ждут «тройку» после неудачного побега. Разные тут – за убийство, за «разговоры», за «организацию», за отказ от работы, за сектантское неповиновение. Этим хуже всех. Над ними и тут издеваются.

Изолятор как тюрьма: камеры, решётки, замки, глазки, параша. На прогулку выводят, на оправку, пайку раздают – 400 граммов. Тюрьма!

В камерах, конечно, очень тесно, жарко, душно и... клопы! Клопы всеильны, от них нет спасения, они невидимы и

вездесуши! Клопами буквально пропитаны все три яруса нар. Каждая щель, каждая трещина, морщинка, складка, углубление деревянных нар, стен, потолка, пола заполнены клопами. Они всегда готовы жрать, в любое время дня и ночи. Они ненасытны! Они неистребимы! Кошмарная мощь агрессии и вони! Жуткой вони, постоянно заполняющей воздух, одежду, тело, пищу... А привыкаешь! Что делать? Ко всему, ко всему привыкаешь. Выхода нет. Ну, не уснёшь сутки, ну ещё сутки, ну спрячешь голову, лицо, шею в рубаху. В конце концов свалишься в сон как убитый. А проснулся, шевельнулся в сторону – под тобой лужа собственной крови от тысяч раздавленных насекомых. Жуть! Повернёшься на другой бок: «Нате! Жрите!» – и в сон.

Днём легче. Днём – прогулка, днём можно на ногах простоять, можно кипятком, который приносят, ошпарить внизу часть нар, часть пола, где можно сидеть и играть в карты. Жить можно! А куда деваться? И что делать, кроме карт и борьбы с клопами?

Сказки рассказывали. Кто знал много сказок и умел их рассказывать – того ценили. И покурить дадут, и пайкой поделятся. А пайки лишние у некоторых всегда были. Карты ведь! То один выиграет, то другой. А играть на что? Пайка, баланда, парашу выносить, клопов давить, а больше нет ничего. Все одинаково голые, в белье.

Восемнадцать человек в камере. Молодые, здоровые, стриженные. Не пускают в белье, а на прогулку? Принесут и

кинут телогрейки, штаны, валенки, шапки – расхватывай!  
Твой, не твой размер – напяливай!

Прогулка – час. Дворик маленький – бегай, дыши. Комендант с наганом за проволокой стоит, наблюдает, чтобы из лагеря чего не подбросили, чтобы не сбежал кто. В лагере нет охраны. И с оружием ни конвой, ни начальство не появляются. Запрещено. А в изоляторе на прогулке комендант с наганом за загородкой из колючей проволоки имеет право стрелять, если потребуется. Вот они, штрафники (смертники отдельно) – восемнадцать мужиков здоровых, молодых. Бегают, гогочут, толкаются, смеются, матерятся. И комендант гогочет и матерится. Жизнь!

— Кончай. В камеру!

Обратно в барак вонючий, душный. В клоповник. А там дневальные пол моют, парашу выносят, котёл с баландой принесли. Шмутки раздевай и в подштанниках в камеру. Пожрать, а там вечернюю кашу и... делай что хочешь... Думай... Думать можно – время еле-еле тащится. Долго ли тут ждать? Чего ждать?.. Что там, дома? Суждено ли увидеть?.. Суждено ли выжить? Надо выжить! Непременно! Лампочка на потолке всю ночь горит, на окне решётка и щиток железный снаружи, чтобы ничего не видно было. Изолятор. Ни читать, ни писать... Ложись к клопам на голые нары, закрывайся одеялом, натягивай рубаху на голову. Ещё один день прошёл. Надо жить...

Сейчас уснуть надо. А вдруг клопы сегодня не тронут? (Бывало и так.) Может, сон приснится? Воля... Ирпень... детство, песчаная горка около Чоколовой дачи... там речка, луг, коростель кричит так знакомо, так по-родному... клевером пахнет... туман... ранний туман. Скоро солнце взойдёт... вот-вот... сейчас.

Однажды утром загремел засов – барахло принесли.

— Одевайтесь, десять человек на работу! – Хорошо! Лишняя прогулка!

— Выходи за зону!

Ещё лучше: прогулка дольше!

Построились, вышли за вахту. Конвоя тоже десять человек с винтовками. Переключка.

— Разберись по два! Следовай!

Погода – чудо! Оттепель, солнце, небо синее! Пахнет весной! Идём. По пять конвоиров по сторонам. Идём. Куда? В полукилометре впереди лес. Сзади лагерь. Вокруг открытое пространство... снег, светло. Как хорошо-то, Господи!

А это что? Чернеют пни?.. Нет, это люди! Голые. Мёртвые... мёрзлые люди... везде... вокруг... самые невероятные позы, из-под снега торчат колени, руки, ноги, головы... спины.

Пошли дальше по снежной целине... всё гуще трупов под снегом, под ногами... друг на друге...

— Стой!

Яма глубокая, снегом засыпанная... длинная яма – ров.

— Слушай команду: всё собрать, снести в захоронение!

Гробовая тишина. Никто не шевельнулся.

— А ну, давай! – щёлкнули затворы. – Управитесь к обеду – каждому двойную пайку! И премиальные!..

Управились к вечеру. Сравняли яму... Оставили так... Растает, потом засыпят... Другим штрафникам работа будет...

Вернулись в камеру. По кило хлеба получили и пирожок с капустой.

А руки немытые... Впереди ночь страшная... и руки немытые...

В эту ночь и клопы замерли... не жрали клопы. Уснуть... уснуть! Где уж тут... «Захоронение»... Как таскали их, скрюченных, голых, за ноги, за руки, волоком, как сталкивали в яму... а они цепляются, они не хотят... они ВИДЯТ! Глаза-то, глаза встречаются, как живые!.. Вот они, глаза!.. Вот они, скелеты, обтянутые кожей... Люди. Бывшие люди!!! Почему? Откуда? Ну, стреляли на просеке штрафников. Все знали



об этом. Один, два, пять! Но это-то откуда? Сотни! Много! Откуда?

В лагере десять тысяч. Кроме штрафного изолятора в зоне ещё два барака «нерабочие». Это изолятор сифилитиков и прокажённых и барак санчасти. Из изолятора вывозили и сжигали, это тоже всем было известно, а вот санчасть – настоящая мясорубка! Всех «доходяг» – туда. Кто на разводе падает от истощения – туда, кто на поверку не поднимается с нар – туда. Там, в санчасти, вповалку, народу битком. Там хозяйничают сильные, здоровые уголовники-санитары и «лекпом» – царь и Бог. Идёт по проходу между валяющимися «доходягами» лекпом в сопровождении свиты санитаров и мелом отмечает, кого в «расход». Санитары потом тащат «отмеченных» в мертвецкую.

— Я ещё живой!

— Лекпом лучше знает.

Вот они откуда – эти сотни! Их отвозили в яму, а они расплзались! Вот они, сотни, тысячи скрюченных, чёрных бывших человек – «лагерная пыль»... Не уснуть!.. Всё равно не уснуть... долго не уснуть...

Через неделю выпустили из изолятора («ангел-хранитель»!).

А случилось это так.

Ещё в Котласе, на пересылке, перед «стремительной эвакуацией» как-то вызвал нарядчик на разводе чертёжников. Я отозвался.

Меня привели в контору. Заместитель начальника управления Кариолайнен Эркий Иванович приказал мне скопировать какой-то чертёж. Ему понравилось, и целую неделю я занимался чертежами.

И вот теперь в изоляторе вдруг открывается дверь, и на пороге я вижу Кариолайнена. Оказывается, прибыла инспекция, он её возглавлял.

Он меня сразу узнал, но не показал виду (режим!).

— За что людей держите? А на трассе не хватает рабочих! А этот за что? Немедленно отправить на трассу. Этого, этого и... этого!

Через три дня прибыла «тройка»! А я уже был на трассе.

## ТРАССА

Весна! Апрель 1931 года. Лес. Дикий, густой еловый лес. Тайбола – так называли этот лес. Это где-то между Кировской областью и Коми. Мало там людей. Изредка по речке Пишме, Лузе, Малане, Летке встречаются бедные деревеньки. Болота, мхи, ели, валёжник. Тут подготовка к строительству железной дороги Пинега–Сыктывкар. Трасса. Просека вырубается.

А погода – чудо! Тает, тепло, рыхлый снег местами в пояс. Огромные мохнатые ели широкими лапами стоят на болоте. Корни-то у них растут в ширину, не «морковкой», как у сосны. Когда падает такой великан, выворачивается пласт величиной с трёхэтажный дом. Повсюду торчат такие дома – валёжник.

И вот рубится просека в сторону Сыктывкара. Пинега уже позади, вёрст сто. Там уже корчёвка. Там, на десятом, двенадцатом пункте, уже бараки построены, а тут, на пятнадцатом, – лес, просека. Ни барака, ни посёлка. Палатка на краю для охраны и склада. Людей немного, тысячи полторы. Большинство – крестьяне средних лет, из раскулаченных.

И урки. Интеллигенции не видно, а уголовники в самоохране или командуют. Есть и прораб, и начальник колонны.

Просека завалена деревьями, кострищами, брёвнами. Одни валят ель, другие разделявают, третьи растаскивают и укладывают в штабеля брёвна, иные жгут ветки и разрубают вывороченные корни. Большинство – в обмундировании третьего срока: телогрейка, бушлат, ватные штаны, серая шапка-ушанка, на ногах изредка валенки, а то и ботинки и лапти с обмотками, голицы-варежки, кушаки-верёвки. Вот они, ударники индустриализации! Пилят, рубят, копошатся, ругаются, шутят! Куда денешься? Дома родного или вовсе нет, или где-то за тысячи километров. А жить надо! Надо выжить, надо двигаться, у костра подсушиться, отдохнуть маленько и опять: «Давай! Давай!»

Ночью спать тут же, на лапнике, на постели из веток ели, у костра. Дымятся портянки, подсыхают валенки... А еды горячей – чаю, хлеба – нетути! Изредка хлеб привезут с десятого рабпункта – вот тебе и радость!

А так – соображай сам: дают тебе кружку муки и кружку пшена. Котелок есть? Снега вокруг навалом, и костёр есть. Какого тебе ещё рожна? Тюрю делай из муки и воды, а пшено доварилось, не доварилось – ничего! В желудке доварится.

Многие, конечно, мучаются желудком, у многих травмы, ушибы или ранения: всё же пила, топор. Вначале лекпом и санитары делали перевязки и даже увозили в больницу

на десятый рабпункт. А потом пришёл приказ: не оказывать помощь «саморубам». Бывали и такие. Не выдерживает, тяпнет топором по пальцу, его в больницу, там кормят, отдохнуть можно. Ну и началось. Чуть ли не ежедневно – то один, то другой: то ногу, то руку. Разоблачили таких «вредителей» свои же, «сознательные» товарищи. Перестали их лечить и даже прибавляли срок по статье «за саботаж». Ничего! Выживали. Один нечаянно сильно ранил кисть. Портянкой замотал, одной рукой работал, костры жёг. Долго гнила ладонь, все пальцы постепенно отвалились. Зажила култышка! Лекпом хотел ему перевязку сделать – на общие работы попал (товарищи выдали).

Все всё друг у друга воруют! Кружку из рук выпустил – попрощайся: привязывать нужно. Остаток пищи прячь на ночь в штаны. А то спишь, как убитый, тебя обыщут и отберут.

Топоры и пилы на ночь сдавать надо в склад. Это ещё мука! Мокрый весь, еле на ногах держишься, а тут стой в длинной очереди. Сдашь топор – получай кружку муки и кружку пшена. Такую небольшую алюминиевую кружку, граммов на двести. И забирай скорее свой «сухой паёк» во что хочешь. Если нет посуды, хоть в шапку. Бывало, и баланду в шапку получали, а ложки нет – хлебай так!

Ложка, особенно деревянная, – большая сила! Были такие, что наживались: по пять ложек имели, давали напрокат. А что делать? Выжить – это главное!

Посуды не хватает. Иной хозяин котелка или чайника зарабатывает на этом, даром не даст, выторговывать надо, ждать, терпеть. Ничего! Живой! Не болеешь! И не простужаешься!

Были и побеги: охраны мало, лес. Разные побеги были, чаще неудачные: куда? Но были и страшные... Крепкий мужик сговаривается с другим бежать вместе. Прячут топор. Ночью уходят. На четвертые сутки мужик напарника убивает (тот же не может двигаться, всё равно погибать, так хоть я выживу). И питается им в течение двух недель. Не все же части человека съедобны, он предварительно разделяет его. Когда поймали мужика на станции Луза, у него нашли ещё кусок. Вот какие побеги!

А бывает – не поймают!

Удивительные бывали побеги! Один уголовник зимой босиком («колеса» – ботинки несчастливые!) через две зоны: из изолятора в лагерь и из лагеря через просеку в лес бежал. Стреляли!

Ведь через колючую проволоку перебираться надо! Он первый раз одеяло, а потом бушлат набрасывал. Бежал, падал, бежал и ушёл! Через месяц в изолятор с воли прибыл вор и передал от него привет. В Москве, говорит, две палатки взял.

А трасса продолжалась! Многие оставались навечно среди пней и проталин, прибывали подкрепления, двигались вперёд. Дошли до посёлка Лойма на речке Луза. Оттуда двигался

встречный поток – 16-й и 17-й рабпункты. Уже бараки построены, уже баня есть, уже баланду и пайку выдают. Тут и пофилонить, и покантоваться. И контора есть, и блатных полно. Не тех блатных, что «паханы», «свои», «люди» (хотя и этих хватает), а тех блатных из «фраеров», которые в хлеборезке, на кухне, в кладовой, в каптёрке, в санчасти, в бане, в дневальных! Это – целый мир! Высшее общество! И бушлаты у них первого срока, и рожи мало на «зеков» похожи. Эти и на поверке не стоят, и едят отдельно, и бесконвойный выход из зоны на посёлок имеют, откуда, конечно, доставляют и выпивку, и табак. У такого бесконвойного всё можно достать. Народ этот по служебным статьям сидит, их на общие работы не посылают. На общих – «контрики», по 58-й которые: вредители, кулаки, шпионы, сектанты разные, в общем, все враги народа и «чучмеки» – не русские, муллы (значит, бай, басмачи) и прочие, ну и рецидивисты, конечно, хотя они не работают. Они или отказчики (и сидят по карцерам), или кантуются на месте работы, или «больные».

На трассе воров брали в помощники охраны. Охраны мало, собак нет (собаки только в лагере, и то немного и плохие), а мелкие уголовники чувствуют себя в лагере как дома: и в доверии, и «кабарчат» – воруют вволю.

Итак, лагерь! Есть и женский барак, и карцер, и КВЧ (культурно-воспитательная часть), и опер – третья часть. Чуть свет – развод и ежедневно выход на трассу, на корчевку. А оттуда вечером пять километров нести в лагерь чурку (если один) или бревно (есть вдвоём) как доказательство, что

дал норму. За то дают помимо пайки пирожок! С капустой! Хорошо! Только вот ноги опухли так, что в коленках не сгибаются, и веревки на обмотках впились в тело, а тут «чурка» на плече. И отставать нельзя: в строю «по четыре».

Когда солнце заходит, ничего не видно, ну совсем ничего, смешно даже! Старайся не спотыкаться, упадёшь – не поднимут... Но ведь не у всех «куриная слепота»! Парню 21 год исполнится только в августе. Здоровый, боксом занимался, гимнастикой волевой по системе Прошека и Анохина, и вдруг – «слепота» и ноги опухли! Вот незадача! Ну что руки подпухают, понятно – всё-таки корчёвка, верёвками коряги на свал вытаскивать трудновато. Бывало, вечером ложку никак в руке не удержать, падает. Приходится баланду из миски через край хлебать. Хорошо хоть миски теперь выдали, ложки, и место на нарах есть, правда, на третьей полке, но ничего, зато над головой мокрые портянки не висят. Правда, воздух не тот, но терпимо, зато на трассе воздух отличный, дыши сколько влезет!

Май! Красота! Прошлогоднюю бруснику можно жевать... Только вот нет никого рядом. Один. Тысячи людей. Каждый – один. Ничего. Думать можно. Уже два года, ещё восемь впереди. Выжить надо! Дом за тысячи километров!

Господи! Хоть бы солнышко медленней опускалось!.. Опять тащить бревно в зону.

– Стройся по четыре!..



## ВАЙГАЧ

Лето 1931 года. По пинежским участкам УСЛОНа собирают этап. Уже третий день как с работы сняли. Комплектуют в отдельном бараке. Всё больше молодёжь здоровая, интеллигентные тоже, видать, есть (учителя, может, священники или артисты, кто их разберёт? Все вроде одинаковые). Выдали всем новые телогрейки, штаны, бельё, ботинки. Куда это собираются гнать? Хуже не будет, куда уж! Пайки раздали на пять дней. Народу много. Человек двести. Опять перекличка. Комендант передаёт конвою формуляры. Построились, вышли. Прощай, лагерь «родной», чтоб ты провалился!..

Станция Луза, опять теплушка – поехали! Не то Котлас, не то Великий Устюг... не разобрать. Река – Северная Двина. Загнали на пристань. Куда? Никто ничего не знает. В Архангельск на лесопогрузку? Загнали на пароход «Глеб Бокий», в трюм, прямо на днище, шпангоуты торчат, вода по щиколотку. Заорали, зашумели: «Доски давай!» Взяли десяток парней – приволокли доски. Стояли сутки, пока загружали пароход. Пить, жрать охота, на оправку не выводят. Закрыли

трюм – пошёл, поплыли! Ещё только через сутки накормили, дали воды. На палубу не пускают. Параша не поставили... А в трюме – друг на друге. Темно, вонь...

Прибыли, Архангельск. Ещё сутки держат. Ор, грохот, шум: «Жрать давай! Воды!» Это, конечно, урки орут. Интеллигенты – те молчат, терпят. Если б вызвали: «Клади голову на плаху!» – интеллигенты осведомились бы робко: «В шапке или без шапки?» И очередь строго выдерживали бы...

Арест, лагерь, этап – это потрясение! Шок! От которого ни в жизнь не отойти, не избавиться, не вылечиться. И чем интеллигентнее человек и чем старше – тем глубже и сильнее это состояние. Для уголовников-рецидивистов тюрьма – дом родной, а лагерь – почти свобода. Они быстро приспособляются к любой обстановке. Интеллигенция в ужасе присматривается и ждёт... Были, конечно, и смелые, и протестующие, и в обиду себя не дающие. Им очень трудно... Были такие, но мало.

Наконец, накормили, пересчитали выживших и перегрузили в трюм большого грузового корабля. Добавили ещё человек сто. Через день вышли в открытое море. Слухи были: не то остров Колгуев, не то Новая Земля, не то Соловки.

Белое море, Баренцево, Карское – это было путешествие! В этом же трюме груз: трубы, доски, ящики, бумажные мешки с цементом, железные бочки с соляжкой и керосином – и люди! Триста человек! Без какой-либо «подстилки». День и ночь

страшная качка! То килевая, то бортовая. Шторм! Временами через открытый люк высоко-высоко горизонт виден, море, волны. Морская болезнь – рвота, стоны, вонь; грохот волн, падают ящики, рассыпается цемент, люди, пытаюсь удержаться, хватаются за что попало, все вповалку, без еды, питья и воздуха. Затихло... Прибыли.

Сколько времени длится этот ад – сообразить трудно. Потом выяснилось – трое суток (высадились 10 августа 1931 года). Высаживаются живые. Сколько там в трюме осталось – неизвестно, да и неважно: выгружаются! Корабль на рейде, в бухте, километрах в десяти от берега. Льдины-айсберги рядом; низкий песчаный берег, скалы, до горизонта тундра, бараки и запах еды... Остров Вайгач.

Честно говоря, жили там хорошо. В бараках нары «вагонкой», столовая, питание хорошее, обмундирование хорошее, охраны нет, зоны никакой нет, поверка – раз в два месяца, баня хорошая с избытком воды и мыла, стричься не обязательно, в прачечной смена белья регулярно. Электростанция, фактория для ненцев рядом, туда шкурки песцов привозят в обмен на патроны, винтовки. В клубе много книг, шахматы, шашки. Стадион, футбольное поле, турники, кольца, лестницы. Зимой – лыжи. Рядом речка. Летом воду брали из неё. Зимой оттаивали снег.

Вечная мерзлота. Заполярье. Три месяца светло, три месяца темно, а остальное время «серятина». Летом (июнь, июль, август) – в оврагах остаются ледники, а в бухте – айсберги.

Зимой всегда сильный ветер и мороз 35 градусов. Волшебное северное сияние временами охватывало всё небо от горизонта до горизонта, казалось, эти разноцветные переливающиеся фантастические лучи потрескивают! Это когда тихо вдруг и выюги нет. А когда выюга, по верёвке ходили из барака в барак, лицо приходилось закрывать тёплой маской из тряпки – только глаза открыты. Часто обмораживались.

А летом без накомарника ни шагу! Крупные, какие-то особенные комары загрызали до смерти оленей. Олени летом уходили от комаров на север, переплывали Маточкин Шар и Югорский Шар. Бывало, зарежут оленя, сдерут с него шкуру, а она вся в дырках и под ней черви, вроде мотыля, только белые – это личинки комара. Оленей было много, ненцы часто посещали факторию, заглядывали в лагерь, и собак-лаек было много и в лагере, и у ненцев.

Песцы ночью в ящиках с отбросами копались. Много песцов. Они питались пеструшками-хомячками, которые живут в тундре во мху. Занятое это место, Вайгач! И совы белые, полярные, иногда прилетали, сидели вдали, как столбы ледяные, и тюлени в бухте жили, выныривали на свист любопытные. И берега пологие, песчаные, оставляли нетронутые человеком полоски-терраски – многолетние следы регрессии моря. На айсбергах – пепел метеоритов, а в тундре морошка, ягода волшебная, и гаги в собственном пуху выводят детёнышей...

Чайка стонет человеческим голосом,  
С моря в тундру тянется туман,  
В небе туч седые полосы,  
В скалы плещется холодный океан...  
С криком вьются над болотом утки,  
Под ногами мокнет мох олений,  
А на склонах плесенью осенней  
Грустно расцветают незабудки.

А работа? Работа страшная! За бухтой Вернека, в десяти километрах от лагеря – шахты: свинцовые, цинковые рудники. Летом на карбасах отправлялись туда, зимой пешком шли по льду. Столбы, верёвки, тропа. По верёвке шли. Рудники жуткие! Людей в ствол спускают «бадьёй», вручную, коловоротом, как в колодец. Штреки – на разной глубине. Вагонетки, гружёные рудой, выкатывают тоже вручную. Руду сортируют под открытым небом и под навесами. В забоях орудие шахтёра – отбойный молоток (компрессор снаружи), освещение – лампочка на каске. Крепление слабое – вечная мерзлота, «жила» узкая – в забое работаешь лёжа с киркой.

Всю зиму – работа в шахтах, в светлое время года – сортировка. А в августе – отгрузка руды на пароходы. Вот такой «рабочий цикл»!

И ещё геологоразведка. Полевые поисковые группы вели разведку в глубине территории: били шурфы, изучали россыпи, собирали образцы породы. В местах предполагаемых месторождений полиметаллов разведку вели буровыми «крельюсами». Встречались золотые самородки, серебро, свинец, цинк, медь, флюорит, олово. Часто обнаруживались россыпи благородных камней: рубинов, изумрудов, яхонтов, аметистов, горного хрусталя. Независимо от статьи и срока, всем идут «зачёты» (день за два), а на особо трудных участках – три дня за день. Начальник лагеря Дицкалн Александр Фёдорович имел право досрочно освобождать и сокращать срок особо отличившимся, за исключением 58-й статьи.

О начальнике стоит сказать несколько слов. Начальник лагеря был внешне незаметен, появлялся в лагере редко, был одет в бушлат или полушубок, никогда ни к кому не обращался (иногда приходил в клуб на спектакли), жил на отшибе в доме, окружённом оградой из колючей проволоки, рядом с радиостанцией и баракком охраны. Но однажды мы увидели нашего начальника другим: он встречал начальство с материка и стоял на пристани в военном мундире (четыре ромба в петлицах!) – член Военно-революционного совета!

Однажды, после очередного выступления «Живгазеты», за мной пришёл охранник.

— Куда? Зачем?

— Начальник вызывает.

Ну, думаю, в карцер посадят (накануне, когда оформляли зал к 8 Марта, я нечаянно сел на портрет Крупской, а когда кто-то сделал мне замечание, что-то дерзко ответил). Решил, что донесли.

Привели меня к начальнику. Он один.

— Садитесь. Чаю хотите? Маша! Дайте нам чаю.

Маша (что-то вроде домработницы) принесла ужин. Пробыл там часа два.

Александр Фёдорович оказался человеком образованным. Разговаривали мы о театре, о литературе, о музыке. (Настороженность моя не исчезла.) Он читал стихи Блока, подарил мне книжку, велел не «распространяться» о визите.

Ещё два раза я был в гостях у начальника. Не знаю, приходил ли кто-нибудь и когда-нибудь ещё. Семьи у него не было, видимо, он был страшно одинок. Я хранил тайну. Однажды мы даже играли на бильярде, и он исполнил на фортепиано Шопена.

А ведь слава о Дицкалне была как о суровом, строгом, даже жестоком человеке: это по его распоряжению был устроен карцер в заброшенном шурфе в вечной мерзлоте (этот карцер называли «могилой»).

Вот таким был остров Вайгач, «экспедиция» УСЛОНа ОГПУ.

Невозможно не сказать о моей собственной роли в жизни Вайгача. Я – актёр. Всегда, везде и во всём – актёр. От рождения, по призванию. И где бы я ни был, чем бы ни занимался, – всё окружающее я всегда воспринимал по-особому. Я и сам не могу определить совершенно точно, какие ощущения владели мной в ту пору.

На всё происходящее со мной я смотрел как бы со стороны. Было страшное любопытство: зачем всё это? Что дальше? Имеет ли это какой-то смысл?

И вместе с тем я испытывал жадное удовольствие и даже наслаждение от возможности участия в этой жизни, от познания окружающей действительности.

Конечно, я прекрасно знал и помнил, что нахожусь в заключении, но это не было главным! Удивительно: в то время я не стремился на свободу. Свобода была всегда внутри меня. Я мог внушать себе чувство независимости и свободы.

Это ещё в тюрьме и, пожалуй, до тюрьмы было у меня: я сам так хочу! Никто меня не принуждает! А будоражащее «Что дальше?» не позволяло тосковать. Интересно! Ей-богу, интересно! Где ещё увидишь такое?! И... понесла меня волна судьбы из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь, от этапа к этапу. Подумать только! 1931 год, август, всего-то восемь месяцев после тюрьмы, а путь – Котлас, эвакуация, этап,



Пинега, побег, изолятор, трасса, опять этап, трюм корабля и, наконец, Арктика, Вайгач. Чудо! И всего-то восемь месяцев!

Сначала я работал в шахте на откатке, но в первые же дни увидел КЛУБ! Пианино. Хор разучивал «Смело, товарищи, в ногу». Я немедленно проник в клуб. Через месяц я организовал «Живгазету» и уже показал начальнику КВЧ какую-то программу.

И – пошло! Каждую неделю – выступление. «Парады», «оратории», «концовки», «хоровая декламация», песни, танцы. От работы в шахте меня освободили, назначили на ближайшую буровую вышку мотористом. Легче, времени больше для «Живгазеты».

Восемь часов я, как ненормальный, провожу в клубе. Тексты пишем сами, репетируем новые материалы на местные темы. Наконец, ставим спектакли. Первый спектакль – «Штабквартира». Ведь обнаружил же я с открытием навигации в прибывшем этапе целых пять актёров.

Помню Елену Петровну (Зонина или Зинина?), немолодая уже, хорошая актриса, играла Василису («На дне»). Потом Жаркова помню, Колю Бурцева, Николая Литвинова, которого я встретил позднее на Беломорканале. Боже мой! Сколько забыто имён...

Чудом сохранились у меня кое-какие материалы, заметки, списки участников эпохи вайгачской «Живгазеты», «стихи», сочинённые тогда:

...Не будем мы чарами недр восхищаться!

Не будем гармонию чудес созерцать!

Нам надо поглубже в скалу пробиваться,

Нам надо руду добывать!..

Растут ударников могучие полки!

Мы старый мир и быт берём в штыки!

Вот участники, молодёжь, почти все студенты: Егеров, Подгоренский, Каледенко, Чуприков, Калинин, Дегожский, Середняков, Клодницкий, Малаховский, Солонин, Александрович, Ильин. Были ещё две девушки. Фамилии их не сохранились. Немудрено, ведь с тех пор почти шестьдесят лет прошло. А события, спектакли помню все подробно. Декорации преимущественно были условными, а костюмы самодельными. Все мы, помню, были искренними энтузиастами нашего театра. Он был для нас «окном на волю».

Вскоре наш клуб-театр становится подлинным культурным центром, а выступления «Живгазеты» и спектакли исключительно популярными. Их посещали все лагерники без исключения. Другого ведь ничего не было. Тогда не было кино, радио, телевидения. Письма и газеты поступали два-три раза за лето.

Был у нас небольшой оркестр: гитара, балалайка, мандолина. Выпускали мы и стенгазету. В ней очень часто менялись заметки, карикатуры, последние известия. Начальник лагеря имел связь с материком по радио, и некоторые важные новости через начальника КВЧ попадали к нам, в стенгазету.

Я везде работал с удовольствием. На буровой вышке уже стал мастером и бурил скважины глубиной до двухсот метров. Увлекался геологией. Геолог профессор Витенбург четыре года был моим учителем. А профессор Сущинский познакомил меня с основами петрографии. Летом я уходил в поисковую партию с геологами: палатки, лаборатория, инструменты, топография. Мы собирали образцы породы, составляли топографические карты, а зимой занимались камеральной обработкой материала, делали геологические разрезы полезных ископаемых.

Я гордился, что на одной из наших карт была помечена речка моего имени. Случилось так, что я открыл флюорит (плавиковый шпат) у одной из маленьких, безымянных речек, которых летом повсюду было много. Их обычно на карте отмечали номерами, а про эту речку говорили: «Та, на которой Дворжецкий нашел флюорит». А потом сделали общую топографическую карту, а на ней осталась «речка Дворж».

Я от всего получал удовольствие: изучил язык ненцев, ездил на оленьих упряжках по стойбищам, умел на нартах орудовать хореем (шест для управления оленями), присутствовал на ритуале «священного жертвоприношения» – «пропасти жизни». Было на возвышенности каменное плато,

а в середине дыра, в поперечнике метра три. Если туда бросить камень, то не слышно, когда он упадет, – что-то бездонное. Туда ненцы бросали поджаренного «олешка», которого обрабатывали тут же, на костре. Вокруг валялись кости. «Святое место!» Туда никто не ходил – боялись.

А однажды я заблудился в тундре. Закончив буровую разведку на западе острова, километрах в двадцати от базы, я отправил группу и оборудование на карбасе через залив, а сам пошёл в обход пешком, надеясь часа через четыре-пять добраться до места. Мог бы вместе со всеми поехать – нет: интересно! Одному в тундре! Уже часа через три я понял, что заблудился. Потерял направление. Шума моря не слышно. Тундра повсюду одинаковая: холм – долина, холм – долина. Солнца нет, пасмурное, блёклое, молочное небо без туч. Ветра нет, тишина... Только тундра, тундра, тундра – во все стороны одинаковая... бесконечная...

Так продолжалось трое суток. Уже на вторые я выбился из сил. Спал урывками, на возвышенности, выбирая сухое место. К ночи становилось темно. Начались галлюцинации. То в одной стороне вижу огоньки, то в противоположной. Уже не шёл – полз. Часто впадал в какое-то полусонное, полусознательное состояние. Лежал долго. Очнулся однажды, открыл глаза и увидел возле руки живые существа – хомячков-пеструшек. Чувство голода, мысль о жизни... Откуда сила взялась? Стремительно набросился... Удалось схватить одного. Сжал в ладони, прижал ко рту этот тёплый комочек и зубами впился в кровь, в косточки, в шерсть. Опять потерял сознание.

Когда очнулся, уже мог встать, мог мыслить, жил... Опять поймал хомячка и опять съел его живьём. Пошёл. Через два часа я услышал шум моря!

Меня нашли. В больнице я пролежал недолго – дней десять.

И ещё раз был в больнице: отморозил руку – тоже было «приключение».

Зима. Ночь. На бухту Долгую нужно отправить десять бочек солярки. Это сто километров на север. Сделали сани – площадку из брёвен, погрузили, увязали бочки, переоборудовали трактор (сделали закрытую, утеплённую кабину), взяли палатку, фонари, компас. Впереди двое на лыжах для разведки дороги. На холмах ветер сдувает снег, а овраги и каньоны полностью засыпаны снежной пылью. Вот и провалился я в каньон, лыжу сломал, под снегом с головой оказался. Выбирался – не выбрался. Выбился из сил, устал, уснул под снегом... Сутки, оказывается, искали меня, бочку солярки сожгли. Отправили обратно, хорошо, что недалеко ещё было. Выяснилось, что левая рука, с которой сдуло снег, замерзла. Врач был хороший – отходил! Хотели было отнять руку, через неделю только пальцы зашевелились. А рана на предплечье долго не заживала.

И ещё было приключение. Но тут уже без больницы обошлось. Разгружали брёвна с «Володарского». Судно стояло на рейде, километрах в пяти от берега. Уже лёд, торосы, а

между торосами и судном – «сало». Это полузамёрзшая вода, как каша. Толстый слой. Ни лодка не пройдёт, ни пешком не добраться до корабля. Стали на сало бросать брёвна и делать мостки, что-то вроде настила. Сверху ещё и доски положили и стали бегом разгружать. Останавливаться нельзя – начинает прогибаться всё «сооружение». Ну, постепенно стали привыкать, осторожность мало-помалу исчезла... А на разгрузку выходили все – это как аврал! Ведь бухта замерзает, последние суда. «Рабочий» и «Володарский» в ударном порядке разгружаются день и ночь. И угораздило меня провалиться в сало с бревном на плече. Опять мой «ангел-хранитель» помог! Чудо! Рука вынырнула рядом с бревном. Вытащили меня, в кочегарку, раздели, стакан спирта дали... Высох и опять пошёл разгружать. Не принудительно, а добровольно. И не заболел. Вот какой был организм, вот какой был энтузиазм. И я не уверен, что многие работали так исключительно ради зачётов. Но... и ради зачётов. Как-то при разгрузке свалилась в море «бухта» каната. Не раздумывая ни секунды, двое бросились в воду, им подали «круг», вытащили на палубу, подняли «бухту» каната. И – приказ начальника экспедиции (мы так называли Вайгачский лагерь): сократить каждому на год срок заключения.

Было, конечно, и тяжело, трудно. Весной слепли от постоянного яркого, низкого, едкого какого-то света. Выдавали тёмные защитные очки, но их было мало. Мучительно отражалась на глазах, на зрении разница: тёмная шахта и сверкающий снег! Весной – цинга, несмотря на то что выдавали клюквенный экстракт. И даже спирт выдавали: 50 граммов

в неделю (далеко не всем и не регулярно, что становилось предметом раздоров). Распухали ноги, выпадали зубы. И волосы выпадали от «дистиллированной» снежной воды, которой всю зиму пользовались. Летом – комары, зимой – морозы. Очень многие зимой обмораживались. Их направляли через залив к рудникам. Некоторые сбивались с пути, несмотря на верёвку, то обвал, то газ. И на разгрузке-погрузке были несчастные случаи. А однажды осенью карбас с рабочими не смог подойти к берегу, ветром нагнало «сала», в тридцати метрах застряли. Больше суток бились и с берега, и с карбаса: и настил строили, и на брюхе ползли – не удалось спасти никого. Пурга началась. На глазах у всего лагеря погибли люди. Ни проплыть, ни подойти... Только через две недели, когда лёд окреп, вырубили их, двадцать человек, уложили в штабеля, закрыли брезентом – временная могила. Летом схоронили в пустых шурфах, они и сейчас там целенькие – вечная мерзлота...

Невероятные «чудеса» были на Вайгаче. Например, никто никогда не болел. Там можно было замёрзнуть, но не простудиться. Никаких микробов! Любая травма – без воспаления! Никакой инфекции. Я, например, однажды осенью в шторм был смыт волной с тонущего, наскочившего на банку бота «Силур». По глупости, конечно: залюбовался бурунами, а команда в это время спешно высаживалась на карбас, находящийся на буксире, и рубанула конец. Вынесло меня к берегу (опять «ангел-хранитель!»). Выбрался я, разделся, выжал рубаху и подштанники, надел и бегал, пока не обсох. Выжал гимнастёрку, надел и опять бегал, а когда рассвело немного,

обнаружил в полукилometре карбас и людей у костра, укрывшихся от ветра за выступом скалы. И что? Насморка даже не схватил. Молодость, здоровье и романтика.

Мне всегда казалось, что романтикой там охвачено большинство. Просто не помню унывающих в своём окружении. И люди были значительные, интересные. Кроме вышеупомянутых профессоров, помню инженера Кузьмина – весёлого, доброго, вечно изобретающего что-то, восторженного и чуткого. Он и в спектаклях принимал участие. Помню барона Кунфера Отто Юльевича, «чопорного» джентльмена, исключительно остроумного. Он ведал библиотекой в клубе, был в высшей степени эрудирован, закончил когда-то Кембридж или Оксфорд. Хвалился, что успел «прогулять» последнее имение предков буквально накануне Октябрьской революции, потом пропивал фамильные драгоценности вплоть до конца нэпа, а когда пришли к нему с обыском, он успел последний оставшийся у него крупный бриллиант проглотить. Позже спрятал его в ножку венского стула, а стульев было... двенадцать! Оригинал необыкновенный. Он здесь, на Вайгаче, успел собрать коллекцию чудесных драгоценных камней и самородков. Работяги приносили, геологи. Можно было всё это хранить как сувенир, а вывозить ничего не разрешалось. Освобождающихся подвергали тщательному обыску, всё отбирали, даже кубики пирита или кристаллы хрусталя. Когда выдавали новую телогрейку, а старую отбирали, её тут же сжигали в специальной печке, сделанной из железной бочки, с поддоном и нефтяной форсункой. Кстати, эту печку



сконструировал инженер Кузьмин. Вентилятором сдувало золу, а расплавленное золото оставалось на поддоне из керамики. Иногда немало оставалось.

Тот же Кузьмин помог мне устроить в клубе юбилейную выставку. Один из экспонатов производил необыкновенно яркое впечатление. Идея, признаюсь, была моя. Представьте: на большом листе фанеры – карта острова Вайгач, на ней отмечены все месторождения полиметаллов, они обозначены образцами меди, золота, серебра, цинка, олова, свинца, камушками флюорита, граната, аметиста, рубина – всем, что нашлось в коллекции. Около каждого образца вмонтирована электропроводка, а сбоку – обыкновенные часы-ходики, на циферблате – клеммы, вместо цифр в центре – одна минутная стрелка, маятник снят, отчего держатель маятника качается очень быстро и стрелка движется по циферблату, задевая клеммы, замыкается контакт – и вспыхивают лампочки на карте поочередно. Все это выглядело чудесно и всем нравилось («чем бы дитя ни тешилось»...).

А Кунфер ухитрился даже «ликёр» варить, кофейный: спирт, сахар, кофе «здоровье». И рюмочки маленькие сделал из лекарственных пузырьков; срезал горлышки ниткой, намоченной в керосине. Нитка горит, а пузырёк опускают в воду. Изобретатели! В тюрьме ухитрялись спичку раскалывать на четыре части, носки штопать при помощи рыбьей кости, шахматы из хлебного мякиша «творили». На Вайгаче и махорку нам выдавали. Только денег не платили.

На берегу громоздились штабеля мешков с мукой, коровьи туши, бочки с сельдью. Для овощей – утеплённый склад, а овощи всегда мороженые. Охрана – вооружённые часовые – постоянно дежурила у радиостанции, у особняка начальника, у складов с продуктами и около цистерны со спиртом. К начальнику экспедиции относились хорошо. Он благоволил нашему театру и через КВЧ одаривал всех участников подарками и благодарностями в приказе. Мы понимали, что и ему несладко.

Какие чувства были, какие настроения у вайгачцев-«казровцев» (К. Р. – контрреволюционеры)? Вот в основном: все репрессированы без вины, в результате «классовой борьбы». Живы, слава богу. Начальство не издевается. Условия жизни и работы хорошие – ничуть не хуже, чем у «вольных» в экспедиции, трудности одинаковые. В других лагерях, знаем, хуже. Тут идут большие зачёты – это хорошо, это сокращает срок, может быть, приближает час освобождения. Неволя, разлука? Время такое – у всех разлука, у всех неволя. Надо держаться, надеяться на лучшее, выжить!.. Для всего этого тут, на Вайгаче, шансов больше, чем где-либо в другом месте, в другом лагере.

А у меня ещё любимое дело – театр! Это отдушина исключительная. Понятно поэтому, что я был потрясён, когда мне объявили:

— Собраться с вещами для отправления на материк!

И сразу меня изолировали и не дали попрощаться с друзьями. Конец кажущейся свободе.

Это было 10 августа 1933 года. Опять! Куда?

Но всё же где-то в глубине души снова начала подниматься волна интереса и любопытства: «Что дальше?»

## ЛУБЯНКА

1933 год. 10 августа. Очередной Большой этап: Вайгач–Москва! Не могу не вспомнить о том, что меня тогда волновало. С Вайгачом я сроднился. Мне было интересно там быть, работать. Конечно, сознание того, что ты заключённый, остаётся. Не избавиться от этого даже на Вайгаче. Но... Срок – десять лет. Прошло четыре плюс два года зачётов. Итого – шесть. Остаётся ещё четыре. А на Вайгаче это всего два года! И уж лучше там пробыть и освободиться, чем уходить куда-то в неизвестность.

Может быть, впереди что-то лучшее?

Таких иллюзий не было.

На свободу?

Не верю!

Значит, опять тюрьмы и лагеря.

А Вайгач? Театр? Не успел закончить «Женитьбу» Гоголя.  
А остальное, незабываемое?

...Когда «Силур» наскочил на бурун, я стоял на палубе гибнущего бота, держался за мачту, потрясенный красотой бушующего моря. Светилась вода, пена, волны, брызги – сказочно, прекрасно, страшно... «Какая красота!» И волна смывает меня в ледяную пучину.

А дикари – ненцы-самоеды? («Самоед» – это не от того, что «сам себя ест», это «сам один». Он один в тундре. Сосед – за сто вёрст!) Вот они, ошеломлённые, впервые увидевшие колесо, перепуганные электрической лампочкой, с опаской прикасающиеся к стеклу в оконной раме! Сидят на земле вокруг только что убитого, ещё тёплого оленя. Старейший отрезает куски и швыряет каждому члену семьи, главной жене – кусок печени. У каждого узкий острый нож, рукоятка – ножка оленёнка или лапка песца. Едят сырую оленину, обмакивая в подсоленную кровь, отрезая кусочки у самых своих зубов быстро-быстро, глотают, не прожевывая. А вот они в «каях» – лодочках из шкуры морского зайца (разновидность моржа) – охотятся на нерпу: свистнут, нерпа вынырнет, пуля попадает прямо в глаз. А вот одежда, атрибуты: савики, малицы, пимы, липты, пыжик, чумы из оленьих шкур, нарты, лыжи, хореи!.. Это всё – вот оно! Своё! Совсем своё! Где ещё увидишь такое?

А как спасали ледокол «Малыгин»! Он застрял на всю полярную зиму, затёртый торосами, в сорока километрах от базы. Как через «ропаки» в подвижку льдов, на собачьих упряжках, на себе, во тьме и вьюге, доставляли пищу и горючее оставшейся части экипажа! Это разве можно забыть?

А медведя, пришедшего за ворванью к палатке? (Ворвань – кусок тюленьего жира, мы им сапоги натирали, лежал у входа в палатку.) Медведь рядом, в полуметре! А? Дикое побережье, не тронутое ногой человека, с выброшенными неизвестно когда обломками кораблекрушений... Сказка! Я ведь видел всё это! Всё в меня проникало... Теперь уходит всё. Корабль отчаливает...

Архангельск. Поезд. Закрытое купе. Вдвоем с конвоиром. Корзина моя заветная при мне. (С самого Киева сохранилась, будет сопровождать меня до самой Туломы.) Кормит меня мой «страж», выводит в туалет, на станции (размяться) или за кипятком. Сплю, в окно гляжу, записываю что-то (сохранились записки!). Скоро Москва. Километров сто не доезжая – страшное зрелище: люди у самой насыпи что-то кричат, протягивают руки! Много людей! Некоторые лежат в траве, иные сидят, глядят на поезд. Женщины, дети... Им что-то бросают из вагонов, они подбирают, падают. Поезд идёт быстро, паровоз всё время гудит, а люди кричат и протягивают руки к вагонам... Кошмар! Ничего я не понял тогда. Потом, в Бутырской тюрьме, объяснили – голод на Украине. А вокруг Москвы оцепление ОГПУ.

Москва. Опять «воронок». Площадь Дзержинского. Железные ворота.

Лубянка. Во дворе ворона каркнула три раза...

Ночь... Ворона.... К чему бы это?..

Записали, сдали, приняли, повели.

В коридоре ковровая дорожка, шагов не слышно. Надзиратель в форме с кубиками в петлицах – офицер!

Просторная светлая комната. Четыре кровати. Стол. Стулья. Трое мужчин. Один пожилой. Военная выцветшая гимнастёрка, на груди «пятна» – следы двух орденов Красного Знамени.

— Здравствуйте! Располагайтесь. Вот свободное место.

— Здравствуйте, – поставил корзину, повесил бушлат (вешалка!).

Снял телогрейку, шапку, сел. Гостиница? Постель, полотенце, тумбочка! А параша? Нет!

Открылась дверь – надзиратель с помощником принесли ужин: каша, хлеб белый, чайник, сахар и винегрет! Чудеса! Конечно, всё мигом съедено. «Жители» комнаты поняли, что я из лагеря, – оказывается, винегрет полагался только тем, кто уже долго находился в заключении. Выяснилось, что тут и папиросы выдают. Полпачки в день! Для нас, зеков, табак – валюта! Бывало, полпайки отдашь за щепотку махорки, и то если бумажка своя для закрутки. Из губ в губы на затяжку бычок передают! А тут полпачки папирос в день! Всё! С сегодняшнего дня бросаю курить! (Бросил. Пять пачек папирос унёс я с собой в этапы!)

Конечно, мои «сожители» интересовались: «как там», «что там». Рассказал...

Через неделю меня вызвали на допрос. Следовательно, начальник КРО Наседкин (помню ведь!), очень деликатно и вполне уважительно обратился ко мне:

— Формальность простая. Нужно кое-что прояснить. Там, в Туле, в группе инженеров-вредителей, почему-то была и ваша фамилия упомянута... вот (?!): «В 1931 году по проекту инженера В. Дворжецкого...»

— (?!) Я уже в то время два года был в заключении, а в Туле вообще никогда не был...

— Вот, вот, пожалуйста, всё это напишите подробно, уличите их во лжи... Там некто Геллер возглавлял эту шайку. Он ещё утверждает, что вместе с вами участвовал в организации «ГОЛ» и что оружие, которое у них отобрали, принадлежало раньше «ГОЛ».

— Не было у нас никогда никакого оружия...

— Очень может быть, я понимаю. Всё об этом Геллере и напишите... И ещё этот, как его?.. Залынский, кажется?

— Зелинский? Это тоже наш студент...

— Пожалуйста, не торопитесь. Можно завтра, если вы устали. Если вам нужно подумать... отдохните... Ну, а как там на Вайгаче? Мы имеем хорошую характеристику на вас.



Считаем, что представляется возможность ходатайствовать о сокращении срока. У вас, может, есть какие-нибудь желания, жалобы, претензии к режиму? Пожалуйста, выкладывайте, не стесняйтесь. Чем можем – поможем! Ха-ха-ха!

— Ничего мне не нужно, всё в порядке. Разрешите только письмо родителям написать. И ещё прошу отослать меня обратно на Вайгач.

Это можно. Письмо напишите, вот вам бумага и конверт, отдадите мне, я сам отправлю, это будет вернее. Ха-ха-ха! А на Вайгач? Завтра же оформлю заявку, и всё будет точно выполнено. Отдыхайте. На днях я вас приглашу.

Вернулся я от следователя какой-то обалделый. Хороший такой, добрый... Что ему нужно от меня? Ничего не пойму... Что там с Геллером? Ладно. Потом! Сейчас письмо надо написать. Написал. Не мог уснуть... всё думал о Туле, о Геллере...

Через день я отдал следователю письмо и написал свои показания: «Институт я не кончал. Учились вместе с Геллером и Зелинским, в «ГОЛ» их не было, в Туле я никогда не был, оружия я никакого не видел, с апреля 1929 года по сей день никакой связи у меня с моими бывшими товарищами-студентами не было». Подписал.

Ничего не понимаю. До сих пор не могу понять, зачем я понадобился им? Подпись? Из-за этого нужно было меня привозить с Вайгача? Я ещё написал, что раньше был вместе

с ними на рабфаке (ПМПШ) и что параллельно учился в театральной студии, а с ними встречался ещё в польском клубе. С соседями по камере я ни о чём не говорил. Они, все трое, всего два месяца как арестованы. Один – москвич, другой – военный из Ленинграда. Ни фамилии, ни «дела» никому не сообщал, каждый был занят собой. Надзиратель, когда вызывали на допрос, входил тихонько и манил пальцем: «Пойдёмте».

На одиннадцатый день подманил меня и тихонько сказал: «С вещами».

Через два часа я уже оказался в Бутырской тюрьме, в «пересыльной камере».

Вот где было интересно! Если бы я не рвался на Вайгач, то готов был остаться здесь хоть до конца срока! Во-первых, тут были почти все интеллигентные люди, среднего и пожилого возраста, большинство – москвичи; во-вторых, у всех закончено следствие – на допросы никого не выдергивают, почти все получали передачи и пользовались «закупками», т. е. покупали продукты в тюремном магазине. Порядок. Староста – выбранный, дежурные – три человека.

В первый же день моего прибытия ко мне отнеслись внимательно и чутко. Когда узнали, что я актёр и прибыл из лагерей, сразу назначили мой «доклад». Тут, оказывается, ежедневно кто-нибудь читал лекцию или делал доклад.

Поэты, биологи, физики, историки, экономисты, художники, инженеры! Я попал в университет!

Мне определили место на нарах, потеснились (там были нары вдоль стен, тюфяки). Я рассказал о лагерях, о Вайгаче, читал стихи Блока, Пушкина, Шевченко (на украинском языке), Мицкевича (на польском). И был там хороший закон: всё делить поровну! Тем, кто был не из Москвы, кто не получал передач, писем и не имел денег, с каждого «закупа» выделялся солидный «паёк». Делились продуктами и вещами из передач. Мне подарили фуфайку, тёплые кальсоны, шерстяные носки.

Не могу не вспомнить одного заключённого – Олега Ивановича. Ему было лет шестьдесят. Потомственный дипломат, работал с Чичериным, много путешествовал, знал несколько иностранных языков. На нарах наши места были рядом. Он учил меня английскому. До сих пор помню английские песенки.

Кормили нас хорошо. Приносили утром кашу, хлеб и чай. Кружки и ложки были у всех свои. Обед из двух блюд! В коридоре ставили два бака с едой и ещё бак с посудой. Очередь в дверях. Раздатчик черпаком наливает, не считает, можешь второй раз подойти. Щи. Каша. Некоторые пропускали свою порцию или предлагали другому. Сыты были все.

Я вспомнил страшные картины у железной дороги. Люди, умирающие с голоду. А тут, в Москве, в тюрьме – пироги...

На прогулку нас выводили ежедневно по часу. Два раза в баню попадал, где удалось даже постирать бельё. Играли в шахматы, в шашки, книги были (газет не давали, даже из передач газетную бумагу отбирали). Иногда пели хором, чаще группами (тихонечко!).

Интересные и полезные три недели провёл я в Бутырке! Но всё же скучал о Вайгаче! Напоминал начальству об «обещании» следователя... Время шло. Приходили новые люди, уходили «старые жители». Никто тут дольше трёх месяцев не сидел: отправляли на этап. Но мне долго нельзя! Навигация закроется! Наконец вызвали меня!! И радостно, и тревожно! Собрался! С друзьями попрощался. Замечательные люди! Долго ли я с ними прожил? Всего около трёх недель. А провожали меня как родного...

В поезде – двое суток. Вдруг Вятка. Почему Вятка?! Мне в Архангельск нужно!.. Вятка. Жуткая пересыльная тюрьма. В огромной камере – битком народу! И нас, десять человек, впихнули, дверь «утрамбовали».

Уркаганы!.. Сплошь уголовники, воры?! Ну и я – вор! Я – пахан! Со мной «носильщик» из блатных (за курево и подкормку) с корзиной моей. Я ему без колебаний:

— Валяй вперед! Дави босяков!

Он знал по этапу, что я Сеня-Рыжий, из Киева. «Рыжий» – значит «золотой». Это кличка специалиста по «ювелирным делам». Её я придумал в изоляторе. В изоляторе я такие

«истории» заливал, что приобрел популярность «чистого проборщика», т. е. вора-специалиста, который сквозь стены проходит. Помнить надо, что я «феню» – жаргон – в совершенстве выучил, «поведение» наиграл, а кроме того, мне 23 года, рослый, смелый, здоровый, красивый боксёр. Это вначале у меня отбирали, а потом я сам научился это делать.

— Толай! Толай к своим!

И... в зубы! Первый! Первого попавшегося! (Если у «параша», значит, «съявки», можно бить!) А «носильщик» мой:

— Дуй отседа!.. в ро... бя... е...

И пошли пробиваться к «своим» (расступаются!), туда, к нарам, к паханам... Добрались! Я, громко, весело:

— Вот они! Ничего себе житуха у блатных!.. Век свободны! – и пачку папирос открываю, угощаю...

А «носильщик» корзину уже на нары просовывает, спрашивает:

— Сюда, Сеня?

— Сгинь, с-сука! – я ему. — Куда прёшь!.. Старики скажут – куда. И когда вы, бя, научитесь вежливости?! Ну, жлобы! Душа, бя, рвётся в котлован, а тело просится на нары! Ну кто тут из фраеров соскучился по параше? Нету, нету марафету. На-ка, Шурок, стащи деду «колёса»! Не на бану, в натуре! – И уже сел... а Шурок старается, стаскивает сапоги.

Смотрят. Переглядываются. Никто сам не хочет попасть впросак, мол, не знает, кто это явился...

— Откуда?

— От верблюда! Много знать, трудно срать! Лёвка, здорово! – И руку ему протягиваю. (Я сразу увидел, что у него нет правого глаза и ухо рассечено почти пополам. Лёвка-Кривой – известный вор-«майданщик», на всем бану свой, давно признанный «пахан». С поезда на ходу скакал, покалечился. О нём подробно рассказывал в изоляторе Гога-Тихоня, дружок Лёвкин. Расстреляли его на просеке за третий побег.) Гогу при мне пришили на седьмом в 31-м. — Привет от Длинного, он в Бутырке, «крепкий». (Я не говорю, что с ним вместе был, можно «погореть», а что он в Бутырке и что он известный «тихушник», я узнал на прогулке, в тюрьме, запомнил. Пригодилось.) Киргиз не знаешь где? – Это я уже придумал, чтобы произвести впечатление, что я больше их знаю.

— Далеко... – отвечает дипломатично Лёвка, нарочно неопределённо, чтобы не оконфузиться передо мной и остальными.

А я уже на нарах. Сапоги сняты, бушлат под боком, из корзины кулебяку достаю (друзья снабдили), ломаю, ем, угощаю... Берут! (Живу!)

Три дня я жил там как «аристократ». Место на нарах, баланду приносят в руки, по две порции (рассматриваешь ещё, не слишком ли жидко!). В карты играл, и с собой колода была

в значке (я знал четыре способа «передёргивания»). Слава богу, не «заигрался»! На четвёртый день вызвали меня на этап. Шурок мой остался, другой урка понёс корзину.

Архангельск! Почему-то лагпункт, а не тюрьма. Вроде тут собирают этап на Вайгач. Встретил вайгачцев, даже одного живгазетчика своего (родным повеяло), ему на волю через полгода (бытовик). Тут кантуется. Октябрь уже! Как там с навигацией? Говорят, грузят последнее судно?

Через двое суток погрузились, отошли. Туман, густой, тяжёлый туман! Стоим. Опять трюм. Ничего не видно, ничего не знаем...

Вроде пошли. Стоим.

— Выходи с вещами!

— Куда? Что такое? Земля... Соловки!

А что же Вайгач?

Кончилась навигация! Лёд. Нагнало с востока. А ледокол поведёт грузовой транспорт.

— Выходи строиться! На разгрузку!

Пересчитали, накормили, на разгрузку всех поставили. Рядом скалы, тут же и ночевали. Три дня разгружали корабль. Повели нашу колонну на «Секирку», распределили по баракам, по бригадам.

Цивилизация! Крепкие, благоустроенные бараки, дневальные с «дрынами», зона, вышки. Столовая, хлебрезка, каптёрка, клуб – всё как у людей...

Хороши по весне комары,  
Чудный вид от Секирной горы...  
Со всех концов Русской земли  
Нас с конвоем сюда привели...  
Эти точки, точки, огоньки  
Нам напоминают лагерь Соловки,  
Посидите здесь годочков три, четыре, пять,  
Будете с восторгом вспоминать!..

Недолго я тут пробыл. Выкапывал свинцовые трубы монастырского водопровода. Начальник КВЧ подбирал артистов для Медвежьегорского театра. Нас, восемь человек, отобрал: певицу, трёх музыкантов, меня... Через Кемь – на Медвежку!..



## МЕДВЕЖКА

«Крепостной театр эпохи принудительного труда».

Карелия. Город Медвежьегорск. 1933 год. Здесь управление ББК НКВД – Беломорско-Балтийского канала Народного комиссариата внутренних дел. Центральная усадьба. Город сам по себе маленький, а «усадьба» – это огромная территория, застроенная конторами, складами, мастерскими, бараками, кухнями, каптёрками, банями, особняками начальства. И здесь же здание ТЕАТРА.

Настоящий, большой, удобный театр! Великолепно оборудована сцена, зал, фойе, закулисные службы – всё! И труппа настоящая, большая, профессиональная: директор, главный режиссёр, администраторы, режиссёры, актёры, певцы, артисты балета, музыканты, художники – все заключённые. И зрители все – заключённые. Правда, два первых ряда отгорожены – для вольнонаёмных и две ложи боковые – для начальства.

В лагере никакой охраны, никакого конвоя. «Свободная» образцовая центральная усадьба и... строгий режим.

Актёры живут вместе, им выделен барак. Актрисы отдельно – в женской зоне. Порядок образцовый. За любое нарушение режима – или карцер, или перевод на общие работы. Движение по территории запрещено. Можно в организованном порядке направляться на работу – в театр и обратно. Питались в бараке. Комендант назначал дневальных, которые вместе со сменными дежурными приносили в котлах еду и тут же раздавали её. И утром, и днём, и вечером. И хлеб дежурные приносили – «пайки». Потом в столовой ИТР было выделено место и время для «кормления» артистов. На общую «поверку» строиться не выходили – дежурный по лагерю ежедневно утром сам заходил в барак и всех пересчитывал. Общаться с «вольняшками» запрещено. Контакты с заключёнными других барачков разрешались только по служебной необходимости под ответственность бригадира (режиссёра) с разрешения коменданта. Забора или проволочной зоны не было. Охрана и контроль за выполнением режима мало заметны, но организованы исключительно чётко.

Были и группы барачков в закрытых зонах с вахтами и охраной. В баню ходили тоже организованно, по графику. Отдел снабжения помогал театру с организацией спектаклей. Главное начальство («министерство культуры») было в КВО (культурно-воспитательный отдел), его представитель всегда присутствовал на репетициях, а также представитель «третьей части» – кто-нибудь из оперуполномоченных НКВД.

В бараке для актёров помещалось до ста человек. Здесь жили и работники редакции газеты «Перековка». Среди них

были исключительно интересные люди: литераторы, философы, учёные. Особенно запомнился художник Василий Васильевич Гельмерсен – бывший библиотекарь царя, маленький, худенький старичок лет девяноста, всегда улыбающийся, приветливый, остроумный, энергичный. Он когда-то был почётным членом разных заграничных академий, магистр, доктор-филолог, свободно владел многими иностранными языками, потрясающе знал историю всех времён и народов, мог часами наизусть цитировать главы из Библии, декламировал Державина, Пушкина, Блока и ещё вырезал ножницами из чёрной бумаги стилизованные силуэты из «Евгения Онегина»: Татьяна, Ольга, Ленский... С закрытыми глазами! Он находился в лагерьях с 1920 года... Был на Соловках.

Привлекать кого-нибудь в театр можно было только с разрешения коменданта лагеря, по ходатайству режиссёра и инспектора КВО. Спектакли были на высоком уровне. Декорации строились отличные, костюмы шились настоящие, добротные, по эскизам художника. Освещение, как в любом столичном театре, под руководством специалистов высокого класса. И все остальные атрибуты – звонки, гонг, занавес, уverture и пр. и пр. – всё настоящее, как в «вольном» театре.

Строгий директор театра Кахидзе жил отдельно, в бараке ИТР, и питался в столовой. Связь с начальством: репертуар, снабжение, «командировки», состав труппы, поощрения, взыскания – всё в руках директора. Он мог отправить любого актёра в бригаду на общие работы, мог ходатайствовать о разрешении на свидание с родными, разрешить отправить

лишнее письмо на волю (позволялось не более одного письма в два месяца), обратиться по поводу снижения наказания или досрочного освобождения работника театра. (Естественно, это могло касаться только осуждённых по бытовым и служебным статьям. К 58-й статье никогда никаких льгот не применялось.)

Были исключительные случаи, когда сам начальник управления ББК Раппопорт лично, демонстративно, при многих свидетелях давал указание снизить срок заключения какому-нибудь ведущему специалисту. Какие были окончательные результаты – неизвестно, но впечатление это производило на всех окружающих очень сильное. А что касается «социально близкого элемента» – воров и проституток, то Раппопорт очень часто приказывал освободить «ударника труда», «ударницу Великой стройки» как «исправившихся досрочно». Об этом сразу же выпускались «молнии», «аншлаги», а газеты «Перековка» и «Заполярная перековка» помещали портреты передовиков, которые вчера сознательным ударным трудом заслужили свободу! Родина простила их! Пусть все берут с них пример! Труд – дело чести!

И в театре на концерте (а концерты были часто) тоже воспевали это событие. На строительной же площадке инструкторы КВО устраивали митинг. Выступали «освобождённые» и по бумажке читали «пламенные речи», вроде: «Я всю свою жизнь воровал, из тюрем не вылезал, и вот спасибо советской власти, спасибо товарищу Сталину, которые научили меня честно трудиться и стать полезным человеком» и т. д. Кончалось это призывом: «Да здравствует товарищ

Сталин! Да здоровствует наш начальник стройки, товарищ Раппопорт!»

Недалеко от театра находился двухэтажный дом – «гостиница». Там останавливались приезжие, и туда приводили заключённых на час, на сутки, на неделю – как разрешит начальство. К артисту оперетты Армфельду приезжал на свидание из Ленинграда Юрий Михайлович Юрьев, знаменитый актёр Александринки. Он пробыл целую неделю. В барак актёров ему приходиться не разрешалось. Армфельда ежедневно уводили на свидание.

Алексей Григорьевич Алексеев, художественный руководитель, тоже хорошо знал Юрия Михайловича. Алексеев жил вместе со всеми в общем бараке, питался тоже вместе со всеми, но часто получал посылки из Москвы, выделялся и одеждой, и поведением. Не был «общедоступным», не допускал амикошонства, сквернословия, пошлятины и грубости. Это был интеллигентный, деликатный, умный и талантливый режиссёр. Обычно «жители актёрского барака» мало разговаривали о статье и сроке. Известно было, что ни воров, ни убийц среди актёров нет. Была 58-я и срок 10 лет. Все судимы «особым совещанием», все в одинаковом положении, а оттенки личного дела-«формуляра», «пункты» не имеют значения. Пункт 6 – шпионаж, 8 – террор, 10 – агитация, 11 – организация, 12 – недонесение. Известно, что ничего этого не было, и никого это не удивляло. Была ещё просто 58-я – «разложение армии и флота». Это было комично, так как относилось к физиологическим свойствам или биологическим аномалиям,

а точнее к гомосексуалистам. В театре эти люди ничем не отличались от остальных, только, пожалуй, терпели больше от случайных ухмылок и бестактных намёков.

Часто выезжали с концертами на отдалённые участки. Отправлялись поездом в Беломорск, Сегеж, Сосновец и даже Кемь, хотя там уже не канал, а перевалочная база, лесобазы. В поезде ехали без конвоя, в сопровождении «опера».

По всей линии железной дороги – тайная охрана. Вылавливали беглецов. «Зеков» видно издали: стриженные, худые, воняют серой. В поезде контроль и проверка от Мурманска до Петрозаводска непрерывно – не прошмыгнёшь, а в сторону, в любую – сплошь лагерь, куда деваться? Урки уходили. Их ловили, били, возвращали. Если же уходил осуждённый по 58-й – расстреливали, а «портрет» вывешивали (предостережение). А тем, кто рядом с бежавшими на нарах лежал, – карцер, изолятор, следствие, срок за «содействие», «недонесение». Боялись. Друг за другом следили... Из бригады убежал – вся бригада в карцер! Ответственность! Порядок!

Горький приезжал, Алексей Максимович. В этот день баланда была без гнилой капусты и постели в бараках прибрали. А он и не ходил никуда. На митинге на строительстве выступил тут же, у последнего шлюза, у Повенецкого залива. Плакал. От умиления...

Говорил о великом энтузиазме, о преобразовании природы, о капиталистическом окружении, о социалистическом соревновании, о том, что труд облагораживает.

Актёры декламировали «Буревестника», и все кричали: «Слава Сталину!»

Не приходил Горький даже в театр: говорили, что уехал в Апатиты или на Соловки... А в театре для него подготовили специальную программу с отрывками из спектаклей «Мать» и «Егор Булычов», с «Песней о Соколе», но потом эта программа шла и без Горького. Во вступлении говорилось: «Посвящается великому пролетарскому писателю», и всегда полный зрительный зал орал: «Ура Горькому!»

Хороший был зритель – непосредственный, жадный, голодный до зрелищ, разнообразный и ненасытный. Надо было видеть это «вавилонское столпотворение»! Многие вообще впервые в театре. Все советские республики, союзные и автономные. Все возрасты. Все статьи Уголовного кодекса.

Идёт спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Зал бурно реагирует. С невероятным энтузиазмом поддерживают Глумова! Свист, топот, взрывы хохота, и вдруг – полная тишина... Чудесный зритель!

Спектакли «крепостного театра» на Медвежке были всегда праздником и для зрителей, и для актёров.

Театр этот был ещё как бы «придворным театром». Очень часто приезжали «гости». Много начальства из ГУЛАГа, правительство, комиссии разные, корреспонденты и даже иностранцы бывали.

Начальство ББК демонстрировало все «достопримечательности», в том числе главную – театр. Для представительства актёров одевали соответствующе, и всё выглядело «комильфо». Репетировали «Интервенцию» и «Разлом», играли «Бронепоезд 14-69» и «Перековку» и др., кроме того, концерты симфонического оркестра, вокал и дивертисмент.

В марте 1934 года из состава труппы была сформирована «культбригада» во главе с бывшим режиссёром МХАТ-2 Игорем Аландером для отправки на новую стройку ББК – Туломскую гидроэлектростанцию. Так начался новый театр, театр на Туломе, «Ту-Тэкс», как его в шутку называли актёры: «Тулумская Театральная Эспедиция».



## ТУЛОМА

В мае 1934 года из Медвежки на Тулому была отправлена группа актёров для будущего Туломского театра.

Тулома – это река на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска – станция Кола, посёлок Мурмаши. Стройка в сорока километрах от посёлка, дороги нет.

Первое впечатление – много людей. Очень много! Сотни тысяч. Строят бараки, живут в больших палатках, расставленных всюду. Солдатские, походные кухни, вагончики для прорабов, начальников, только что выстроенный новый большой дом для начальника лагеря. Всё это на изрытой, вздыбленной почве из валунов и пней, в огромном ущелье среди скал и редких сосен, у холодной, быстрой реки. Строится лагерь.

Первое лето целиком на строительстве жилья. Работали все. Но требовались выступления культбригады для «поднятия духа». Было кое-что из готового репертуара: чтение, баян, пение, гитара, а кое-что нужно было срочно готовить «на местном материале». Для подготовки давали сначала день

в неделю, потом два. Писали и репетировали в палатке, материалом снабжал инспектор КВЧ. Выступали на открытом воздухе, на временно построенной эстраде, если погода позволяла.

Лето. Заполярье. Светло долго.

К зиме уже перебрались в барак и клуб был готов, но холодно было ужасно.

Зрители сидят в бушлатах, в шапках, топают ногами – греются. Пар от сотен дыханий и дым от плохой печки поднимаются к потолку, туман в зрительном зале; слабые лампочки светят робко, как в бане. На сцене света никакого: горят какие-то лампы, но всё равно ничего не видно. Давали водевиль. Актриса в открытом платье отморозила соски (нарывы потом были). Температура на сцене до двадцати градусов мороза (на улице – 35 и вьюга). А завтра на работу, в котлован, скалу ковырять, тачки возить.

Мороз, вьюга, полярная ночь, костры для освещения и обогрева. Грузить, возить – ещё терпимо, двигаешься, согреться можно, а вот бурение – очень трудно. Сидишь на корточках, держишь в руках бур – долото (это длинный такой метровый стальной прут, шестигранный, как лом, заточенный на конце), держишь в рукавицах, конечно, вертикально так, а партнер ударяет большой кувалдой по этому буру: ты поворачиваешь: а он ударяет. Руки цепенеют. Потом ты вычерпываешь специальной «ложечкой» из дырки пыль, и опять бей дальше,

пока дырка не станет глубиной полметра. Так делали «бурки» в скале, чтобы потом туда заряжать аммонал и взрывать. Весь день грузят в тачки и увозят камни, большие разбивают кувалдой, а после смены взрывают заготовленные за день «бурки». Назавтра опять всё сначала.

Глубокий котлован для «водосброса» делали два года. А потом стало трудно вывозить отвалы. Тачка тяжёлая, мостки узкие, в одну доску, скользко, соскочит тачка, перевернётся – и ты за ней... А тут «норма». Учётчик всё отмечает: если норма не выполнена, пайку полную не получишь. У актёров «норма» – полнормы. И работали только три, а то и два дня в неделю (вот радость-то!).

Рабочих очень много в котловане – муравейник! На третий год случился обвал. Несколько тысяч людей под обломками остались, полгода потом откапывали, вынимали по кускам. Объясняли зекам так: «Вредители! Везде вредители!» И ещё: «Великие дела без жертв не обходятся!»

Расстреляли главного инженера. Пригнали новый этап. Работа продолжалась.

Большинство заключённых были нерусскими: узбеки, таджики, каракалпаки, очень много басмачей. Впрочем, всех нерусских считали басмачами почему-то... Урки, как всегда, работали плохо, крестьяне, как всегда, работали хорошо. Зона была далеко за лесом, и туда подходить не разрешалось – стреляли.

Первый год, пока не было клуба, вывозили культбригаду на соседние лагпункты, «на гастроли». Однажды были в Кеми. Туда только что привезли эшелон «людоедок» с Украины. Дикие, полупомешанные женщины разных возрастов, худые или распухшие, мрачные, молчаливые. Рассказывали, что были такие – съедали своих детей... и якобы рассуждали так: «Или мы все помрём, или я выживу и опять рожу...» Много их привезли.

Там, в Кеми, тогда же из культбригады пропал гитарист. Через два часа нашли его в женском бараке... Его изнасиловали. В больнице пролежал две недели там же, в Кеми.

И на Туломе «чудеса» творились. То девку обнаружат повешенную на ветке за ноги, юбка завязана на голове, а там песку и щепок набито. То парень на чердаке голый, живот вырезан, тряпками набит, завонялся. В карты урки проигрывали, «наказывали», даже квартиру начальника лагеря однажды проиграли. Никакая охрана не помогла – ночью квартиру обокрали. И проститутки «работали», никакой комендатуре не угнаться, никакой карцер не помогал. Одна девка как-то готовилась на волю, решила «подработать», устроилась в туалете на окраине зоны. Брала пятьдесят копеек или пачку махорки. Когда её забрали – уже было десять пачек махорки и 15 рублей.

А матерщина! Постоянное, повседневное сквернословие... Грязная ругань была нормальным лагерным языком. Блатной жаргон, манеры – страшная зараза для всех заключённых.

Атмосфера лагеря засасывала всех! Трудно было сохранить себя. Повседневное, длительное общение с уголовниками, преступниками, отбросами общества непреодолимо откладывало отпечаток и на людей хорошо воспитанных, образованных, интеллигентных.

Театр воистину вёл непрерывный бой с этим уродством за культуру, за красоту! Невероятно трудно было сохранить этот «оазис». А ещё труднее сделать театр целенаправленным и боевитым. С одной стороны – сложно найти общий язык со зрителями, чтобы быть понятными и принятыми, а с другой – непрерывный и тщательный контроль КВЧ и оперуполномоченного, который стремился выдержать театр в «определённом русле». Нужно учитывать и контингент: примерно 10% уголовников-рецидивистов – самая влиятельная и разлагающая прослойка, 10% интеллигенции – самая разобщённая и подавленная часть и 80% «работяг» – неграмотных крестьян и «нацменов». Да и в самой труппе театра только 15 актёров и интеллигентных людей, остальные – тоже уголовники.

Не всегда удавалось преодолевать привычки, манеры, «сложности» речи у наших самодеятельных артистов. Однажды в «Хирургии» Чехова исполнитель роли врача «оговорился», вызвав восторженную реакцию зрителей. Вырывая зуб у Дьячка, он должен был сказать: «Это тебе, брат, не на клиросе читать!» А актёр громко и темпераментно воскликнул: «Это тебе, блядь, не на крылосе читать!» Гром аплодисментов! Матросы

в массовке «Разлома» яростно матерились! Было очень органично...

Ходить по лагерю вечером было опасно. После спектаклей мы провожали актрис вместе с комендантом. И... всё же не уберегли нашу Юлю! Была такая чудесная восемнадцатилетняя, нежная, красивая студентка из Ленинграда. Родителей, «врагов народа», расстреляли, а её сослали в лагерь – ни статьи, ни срока, вроде вольно-высланная, вроде заключённая. Мы взяли её к себе. Без вещей прибыла, в лёгком пальтишке... шляпка, туфельки, перчатки, сумочка. Юля Яцевич. Два года была она с нами. Репетировала, играла роли, но никак не могла избавиться от потрясения, не могла привыкнуть к обстановке. На общие работы её не посылали. Мы всячески ограждали и берегли её. Не уберегли... Её изнасиловали десять сволочей – проиграли в карты. Ночью из женской зоны с кляпом во рту вытащили во двор (другие женщины всё видели, боялись поднять тревогу)! Утром обнаружили её без сознания, за штабелями брёвен... В больнице через неделю она повесилась. Косынкой за спинку кровати. На «свалку» вывезли. Мы и не видели её... Милая Юля.

Вот в такой обстановке ставились спектакли. В клубе стало теплее, хотя зрители по-прежнему сидели в зале одетые. Освещение хорошее наладили. Декорации строили настоящие. Прибавилось много талантливых людей – музыканты, художники, литераторы, актёры.

Примерно раз в два месяца выпускали новый спектакль. И ещё десятки концертных программ: песни, танцы, чтение, сценки, скетчи, конференс, построенный на местных актуальных темах.

Много помогал театру начальник строительства ГЭС Владимир Андреевич Сутырин.

Надо признать, Сутырин был личностью исключительной. Партийный работник с дореволюционным стажем, в гражданскую войну командовал дивизией, позже одно время возглавлял РАПП. Писатель, поэт, драматург, личный друг Киршона и Афиногенова, он был направлен в органы НКВД, на стройку пятилетки. Можно себе представить, как он относился к театру. Всегда присутствовал на сдаче спектаклей вместе с уполномоченными НКВД и начальником КВЧ, а иногда появлялся и на репетициях. Чувствовалась его поддержка, его шефство (хотя лично к нему обращаться было запрещено, только с заявлением через начальника КВЧ). (1980 год. Сын мой Евгений – в Щукинском училище на третьем курсе. А на втором курсе училась Ниночка, прелестная, умная девушка. Она жила у своей бабушки у метро «Аэропорт», а Женя у своей – на «Колхозной». Ниночка пригласила Женю познакомиться со своей бабушкой и... с дедушкой. Дедушка (лет под 90), милый, приветливый, занимал жениха, пока бабушка с невестой готовили чай. Среди реликвий и сувениров показал и альбом с фотографиями, записями, цифрами, датами. На одном из снимков Женя узнал своего отца, вернее, фото, которое видел дома в альбоме «Тулома»: лагерь, строительство Беломорско-

Балтийского канала. А дедушка невесты – начальник лагеря Владимир Андреевич Сутырин. Прошло пятьдесят лет, и з/к Дворжецкий стал родственником своего «надзирателя». Чудеса! Владимир Андреевич недавно умер, а сын его «подопечного» живёт теперь в его квартире со своей очаровательной женой и чудесной дочуркой Анютой. Воистину «тесен мир»!)

Ставили спектакли раз в неделю, иногда два, а концерты и отдельные выступления в бараках были почти ежедневно.

В лагере существовала «система соревнования и ударничества». Победителям выдавались премии: продуктовая «передача» или новое «вещдовольствие» – ботинки, гимнастёрка, бушлат. И культбригаде выпадали награждения и поощрения. Выдавали «грамоты», «книжки ударника», заносили фамилию на «красную доску», помещали портрет на Доске передовиков, в газете «Заполярная перековка». Всё как на воле!

В декабре 1935 года погиб Игорь Сергеевич Аландер, руководитель театра. Покончил жизнь самоубийством – бросился в «водосброс». Было ему тогда 32 года. Талантливый, умный, красивый, чудесный человек! Все любили его. В Москве у него была семья – жена и сын. Вроде вначале были письма, а потом большой перерыв. Наконец он якобы получил известие, что жена от него отказалась, развелась, вышла замуж и переменяла фамилию сына. Это всё открылось потом, после его гибели, и было недостоверно, основано на слухах. Для театра это был тяжёлый урон.



Главным режиссёром стал Николай Иванович Горлов. Он был «вольно-ссылным», но жил со всеми, тут же, в лагере, только в другом бараке. Он был профессиональным режиссёром и актёром. Поставил несколько удачных спектаклей, актёры его уважали, но Аландер остался в сердцах навсегда.

А тут ещё горе постигло; всем, кто сидел по 58-й статье, прибавили срок – сняли «зачёты». Это был, как объяснили, ответ на выпады «классовых врагов», после убийства Кирова в декабре 1934 года. Тогда, ни много ни мало, по два года прибавили: Дворжецкому, Волынскому, Пелецкому. Некоторым прибавили по году, кое-кому по полтора.

В тот тревожный период, когда близится конец срока, когда готовишься к воле – каждый день тянется как год, каждый час и каждая минута занята мыслями о том, что будет. Как будет? Куда ехать? Что дома?

Когда рисуешь в воображении своём картины будущей долгожданной свободной жизни, ночи не спишь, день торопишь – вдруг вызывают к оперуполномоченному. Бегом, с радостным чувством... готов обнять весь мир!

— Здравствуйте!

— Распишитесь.

— Где? Тут? – расписался. — Что это?

— Прочтите...

«...решением комиссии НКВД... снять зачёты...  
пересмотреть сроки заключения... Апреля 1937 года...»

— Ничего не понял!

Понял.

Сердце ледяное: ещё два года.

— Проходите. Следующий!..

Вот так. Шесть лет прошло. Работал, ждал, надеялся. На Вайгаче два года адского труда всё же оплачены тремя годами зачётов. И тут, в Заполярье, были зачёты – день за полтора. Где же все эти вымученные, выношенные, высчитанные дни, месяцы, годы? Ещё два года! Постой... но не четыре же, значит, что-то всё же осталось?! Вот какие мысли, вот какие чувства... А что делать? Надо идти работать. И поменьше рассуждать и обсуждать. Кто-нибудь «стукнет» – и остальные зачёты снимут.

Хорошо, что театр есть. Я САМ ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В ЭТОМ ТЕАТРЕ, в кругу своих хороших друзей. И хорошо ещё, что не хуже, что не на общих, тяжёлых работах, что можно заниматься любимым делом, искусством помогать людям остаться людьми, сохранить или обрести достоинство, не оступеть окончательно, не превратиться в скотину! Ну, это ли не счастье! Это святая миссия! Не надо изменять делу, к которому призван СУДЬБОЙ! Надо работать!

## ВОЛЯ-НЕВОЛЯ

Трудно описать волнения и тревоги последних дней. 1937 год! «Густо» прибывают новые этапы. Начинается новая «волна» событий. Тревожно... непонятно, слухи разные: «освобождающихся – возвращают», «не будут освобождать по статье 58-й», «опять сроки добавляют, снимают зачёты...»

Господи! Ни сна, ни пищи! День! Час! Минута! – как годы! Наконец, вызывают: «С вещами, на волю!»

Вы слышали когда-нибудь эти слова?! Уже не веришь... Нет! Не может быть!

Расписался. Получил ПАСПОРТ! Пятигодичный! Деньги, паёк на четверо суток (я же говорил, что я счастливый!)... Ещё расписался.

А это что? «Минус сто»! Нельзя, значит, жить в больших городах, вблизи границ, вблизи морских портов, в промышленных центрах...

А где жить? Там, где пропишут.

Билет выдали до Киева. Поехал...

Как я ехал? Как в тумане... Оцепенение такое, будто это не я, будто с кем-то другим всё это происходит. Замирал только, когда охранники документы проверяли... До Ленинграда несколько раз. Ленинград, Москва, Киев, ИРПЕНЬ! ДОМА!

Отец... Мать... Сосны вокруг усадьбы. Выросли как! Я их сажал двенадцать лет назад. Сюда мама часто ходила, слезами поливала... вырос лес! Господи!!! Я – дома!.. Вот мои рисунки киноартистов: Мэри Пикфорд, Глория Свенсон, Гарри Пиль. Коллекция бумажных денег, книги, книги... Потрогать... прикоснуться. Отец старый очень почему-то... а ведь ему, кажется, нет и семидесяти.

Свобода! Непривычно совсем, совсем... Значит, можно идти куда хочешь? Пошёл! Пошёл по дороге, пошёл полем, лесом, ложился в траву на спину, глядел на вечное синее небо, на живые, тающие облака. Вставал, опять шёл. Шёл вперёд, без цели, без охраны, без конвоя, без надзора, без разрешения!..

Вечером мать сказала мне почему-то шёпотом: «Гут, когда ещё не было тебя, приходили какие-то, спрашивали...» Спрашивали... Вот он, знакомый «холодок под ложечкой»! Без прописки ведь... Да... Вот тебе и без охраны...

Ночью ходил в поле, соломы украл, принёс для подстилки, козе травы накосил. Привязать бы козу на поляне к колышку – верёвки нет... Подождите, милые мои, родные, всё будет, всё сделаю!

Ничего я не сделал, совсем ничего...

В Киеве начальник управления культуры сказал мне, что у нас безработных нет, а в театрах не будет для меня больше места. Поехал в Белую Церковь – сто километров от Киева, там разрешена прописка. Предложил себя в театр. Рады. Пошли в НКВД выяснять... Выяснили... Можно, но... но отвечать за меня режиссёр не хочет: у него семья... В Ирпене в моё отсутствие опять приходили.

Уехал в Барышевку. Устроился работать слесарем в весоремонтную мастерскую. Через месяц хозяйка, где я снимал угол, отказала: приходили из милиции. Вернулся в Ирпень. «Сыночек, уезжай! Тут всё время о тебе спрашивают. Весь Ирпень знает, что ты вернулся. Спрашивали, где ты, а я не знаю».

Уехал в Харьков. Там училась в институте физкультуры сестра, жила в общежитии. Пошёл к начальнику управления культуры.

— Актёр нужен?

— Конечно! Я вас сейчас познакомлю с директором и главным режиссёром хорошего театра. – Позвонил по телефону:  
— Я хорошего актёра вам нашёл. Приходите!

Пришли: директор Чигринский, режиссёр Мальвин.

— Очень хорошо. Можете поехать на гастроли?

— Куда угодно!

Поехал. Выглядело так, будто меня рекомендовал начальник управления культуры! Меня ни о чём не спрашивали. А я ничего и не говорил. Рабоче-колхозный театр № 4 (РКТ-4). Работаю!! Купянск, Дебальцево, Донецк. «Анна Каренина», «Слава». Зарплату получаю! Живу! Родителям не пишу. Они знают, что я в Харькове, у сестры. Мама уже не плачет. У неё там внук, Леопольдик, ему пять лет, и бабушка сердце своё целиком отдала ему – утешение. Слава богу!

Прошёл месяц, забрали того, кто меня рекомендовал. Меня пригласил директор.

— Откуда вы?

Я рассказал всё.

— Ради бога, уезжайте! Получите за две недели вперед и уезжайте.

Уехал под Москву, на станцию Заветы Ильича, там жила моя двоюродная сестра, она меня приютила. Подрабатывал на дачах. Крыши, заборы ремонтировал, дрова пилил. Однажды ткнул пальцем в географическую карту СССР, стараясь метить повыше и поправее, и попал в Омск.

Как ехал и как устроился – этого не забыть!.. Вещей никаких, всё на себе, денег – три пятёрки в кармане, билет

в общем вагоне. Трое суток на верхней полке. Продуктами на дорогу сестра снабдила. Ничего. Хорошо.

Поезд пришёл ночью. Мороз –30. Я в ботиночках, в пальто на «рыбьем меху», на голове – шляпа...

Вокзал забит пассажирами, присесть негде. До города, оказывается, семь километров. Трамвай. Последний. Надо ехать. Адреса, конечно, никакого нет. Ничего – «ангел-хранитель» поможет! Стенки в трамвае покрыты толстым слоем льда. Двери не закрываются. Ноги замерзают, надо топтаться всё время. Пустой трамвай. Приехали.

Темно. Никого. Вдали огонёк. Бегом туда. Оказывается, «забегаловка»! Ещё не закрыта! Стулья на столах ножками вверх – уборка. В углу вроде кто-то спит за столом... За стойкой буфетчица щёлкает на счётах.

— Закрыто! Закрыто!

— Я на минутку! Разрешите погреться! Может, чай есть?!

Посетитель за столиком зашевелился.

— Друг!.. Выпей со мной! Все паразиты бросили меня! Я что, не человек?

В общем, я с ним выпил и закусил и пошёл к нему ночевать. Оказалось – заведующий Домом колхозника. Больше я его не видел, а жил бесплатно в этом Доме целую неделю! Вот какие чудеса творит «ангел-хранитель»!

В Омске меня и прописали, и приняли в ТЮЗ, хотя я всё рассказал о себе.

Уже декламировал на избирательном участке:

Мы знаем людей и видим дела,

А правду – мы сердцем чуем.

За сталинский путь, прямой, как стрела,

Мы все, как один, голосуем!

Из Заветов Ильича я получил письмо. Оказывается, и там уже спрашивали...

В театре в Омске я много и успешно работал. В Омске женился на актрисе Т. В. Рэй. В 1939 году родился мой сын Владислав. В Омске ко мне хорошо относились, но... Дружить со мной было непохвально, что ли, не особенно «престижно» и небезопасно... Про меня всё знали. Я не афишировал ничего, но и не скрывал. В анкетах писал правду: «Соц. происхождение – дворянин». «Судимость – Особое совещание ОГПУ, статья 58, срок 10 лет». Это тебе не Герой Соц. Труда, не орденосеиц, а «недострелянный классовый враг», явно. Многие, особенно начальство, думали так: «Лучше пусть меня обвинят в чрезмерной бдительности, чем в отсутствии классового



чутья». Время суровое. Было объявлено «обострение классовой борьбы», поэтому к «чуждым элементам» относились, мягко говоря, не очень дружелюбно.

Уехал я в Таганрог: всё же Сибирь, Север, холод – столько лет! Можно понять желание погреться у южного моря. Год работал там успешно! Вызвали в милицию, перечеркнули паспорт и приказали как «нарушителю закона» выехать из города в двадцать четыре часа. «Погрелся». Оказывается, город стал «режимным»! А ведь работал хорошо, успешно, интересно. Был режиссёром и героем в театре! Ну что ж, спасибо, что не посадили...

«Нарушитель» уехал обратно в Омск. ТЮЗ, театр драмы. Опять интересная, творческая работы, успех, любимая семья, возможность помогать родителям. Перспективы!

И вдруг война! Беженцы, скудный паёк, пустой рынок. Родители и сестра в Киеве, связь потеряна... А в театре – чудо как хорошо! Занят во всём репертуаре. Новые, прекрасные партнёры: Вахтеров, Ячницкий, Лукьянов. Вахтанговский театр – в нашем здании. Режиссеры – Симонов, Дикий, Охлопков. Спектакли идут через день: у них «Кутузов» – у нас «Кутузов», у них премьера «Много шуму из ничего» – у нас премьера «Ночь ошибок». И кружок самодеятельности, и дома дел полно. Моя жена – балетмейстер в театре и в Доме пионеров. Владикау два года. Трудно, но интересно и хорошо было...

Жили мы в парке. Буквально. Бывший дом губернатора – Дом пионеров, а в парке Дома пионеров – бывший домик садовника губернатора. Хороший домик, двухкомнатный, одноэтажный, без водопровода, с печным отоплением. Одну комнату уступили беженцам. Кухня общая. Нам эту «квартиру» дали потому, что мы вели кружки в Доме пионеров – драматический и танцевальный. (Помню, репетировал я «Снегурочку» Островского. Маленькая Верочка: «Мама! Любви хочу! Любви девичьей!» Директор Дома пионеров возмутилась: «Запрещаю!» Сейчас эта Верочка Михайлина – народная артистка.)

Вот там я и получил повестку: «Выехать из города в течение 48 часов». Руководство театра возмушалось: репертуар под угрозой срыва.

— Идите, хлопочите! Просите, чтобы не выселяли. (А сами не хлопочут: боятся, как бы чего не вышло.)

Ну, написал я заявление с просьбой разрешить мне остаться в театре. Я всё, мол, осознал, исправился, больше не буду...

А надо было уехать. В район. Приезжать – играть! Не умел я комбинировать...

Днём пришли. Трое. Я ребёнка купал в тазике. Велели сесть на стул в стороне. Обыск. Мокрый мальчишка плачет.

— Разрешите ребёнка одеть!

Пришла тёща, унесла Владика на кухню. (Я увижу его только через пять лет.) При обыске разбросали все книги, забрали письма родителей и фотографии... жены. В обнажённом виде. У неё была чудесная фигура, какая и должна быть у балерины, прошедшей школу Большого театра. Я сам фотографировал её, у меня был «Фотокор». Много было разных снимков, но эти, «неприличные», я хранил в книжке. Вот их и взяли. Я протестовал: «Вы не имеете права! Это личное, интимное, никого не касается!..» Потом следователь со своими помощниками разглядывал эти снимки, обменивался впечатлениями и циничными замечаниями... Я не мог дать ему по морде – был привязан к стулу. Только плакал от беспомощности. И помню это! Помню за всё время, за все годы мук, пыток, боли – помню и не прощу! Не могу простить это оскорбление! Если меня били резиновым жгутом за то, что я произнёс нерусское, непонятное им слово – «реабилитируют», – простить можно: они же неграмотные! А потом, они же не допускали непризнания вины! «Это клевета на органы! У нас зря не берут!» Поэтому, если заявить, что ни в чём не виноват, – готов уже и срок, и статья... Всё это дико, жутко, больно...

Опять статья 58, опять «особое совещание», разница только в сроке: первый раз осуждён на десять лет, теперь на пять.

Опять одиночная камера.

И, как ни странно, снова это удивительное чувство внутренней свободы. Несмотря на решётки, стены, допросы, ложные обвинения, угрозы, пытки. Я всё время искал и находил

в себе возможность смотреть на всё это чуть-чуть со стороны, видеть «мизансцену», «диалог», «развитие действия», ощущать себя в «предлагаемых обстоятельствах».

А чего стоит одно сознание того, что ты сам волен распоряжаться собственной жизнью! Волен сам решать, жить или не жить. Заключённому ведь не дают такого выбора: отбирают ремень, подтяжки, срезают металлические пуговицы, отнимают шнурки, сохраняют круглосуточное освещение, наблюдают через глазок, постоянно обыскивают, не разрешают днём спать, ночью тревожат. И всё это, как ни странно, для того, чтобы лишить заключённого возможности покончить с собой. А теперь представим себе, что удалось (это невероятно!) припрятать где-то, допустим, в рукаве, в манжете рубашки, лезвие бритвы! А? Это создаёт ликующее чувство независимости! Это ощущение безграничной свободы! «Вы всеми силами держите меня в тюрьме и понятия не имеете, что я в любой миг, зависящий только от меня, могу освободиться от вашей власти и уйти совсем!» А мне действительно удалось кое-что припрятать в манжете рубашки: на ботинках когда-то были металлические крючки для шнурков. При досмотре крючки были вырваны. Один случайно остался. Я его вынул, выпрямил, наточил на цементном полу, спрятал и стал независим. Я – что? Очень хотел умереть? Отнюдь! Я хотел жить. Но я не хотел, чтобы это зависело от кого-то. «Я! Я сам! Я так хочу! Я могу!»

Я много двигался – пять, десять километров в день отмерял. Работал обязательно. Как? Например, штопал носки. Занятие? О, это была сложная и интересная процедура!

Во-первых, нужно найти и сохранить «иголку» – подходящую рыбью кость. Во-вторых, добыть нитки из этого же носка, распустив немного верхнюю часть. Дальше носок надевается на деревянную ложку, затем «иголкой» делается дырочка в нужном месте, нитку кончиком вдеваешь осторожно в дырочку и протягиваешь. Потом то же самое – в обратную сторону. И ещё... И ещё... Много раз. А потом сооружается поперёк плетёночка-клеточка. Наконец после многих переделок – классическая штопка готова, размером 5 на 5 сантиметров. А прошло дней десять! Это ведь тоже была своеобразная форма протеста, форма вызова: трудиться не разрешалось. Заключение должен чувствовать себя всё время безнадежно угнетённым, одиноким, подавленным, беспомощным, слабым, виноватым во всем, в чём бы его ни обвинял следователь! Адская система воздействия на психику узника! А тут вдруг человек, уверенный в себе! Разрушается система! Это помогло выжить, сохранить человеческое достоинство, быть готовым встретить любые трудности, любые неожиданности.

Когда через полгода после окончания следствия и объявления приговора особого совещания (пять лет лагерей) перевели меня в «пересылку», где собрано более сотни самых разнообразных зеков, я сразу «сыграл» роль старосты и не без усилий, конечно, «захватил власть». Устроился на столе (с двумя помощниками под столом)! – единственном месте, где можно было лежать. А все остальные сидели на полу, спина к спине, как обычно.

Правда, через десять дней, когда меня вызвали на этап в числе ещё сорока человек, а потом через два часа вернули по обычной «недоработке» (то ли транспорта не хватило, то ли конвоя не было), «власть» в камере уже была захвачена, и я сидел на полу ещё неделю, пока следующим этапом не угнали наконец в колонию.

В «пересылке» была возможность познакомиться с людьми. В большинстве – интеллигенция. Пожилые. Педагоги, инженеры, военные. Немцев много, видимо, из области. Больные, грязные, перепуганные, голодные...

Следствие не было таким жестоким, как когда-то. Даже «разговорчики» допускались. Следователь «снисходил» до того, что рассказывал о событиях на фронте, в частности о разгроме немцев под Москвой.

Внезапно зачитывал мне показания моих друзей-актёров. Все осуждали и оговаривали меня: «...он говорил, что в газетах пишут, как в Германии выдают по сто грамм масла, а у нас, мол, и этого нет. ...он говорил, что наше бездарное командование не сумело организовать оборону, ...как Сталин мог допустить неожиданное нападение фашистов, ...говорил, что на базаре картошки не стало...» Помню, одна лишь Надя Сахарных, актриса ТюЗа, сказала про меня только хорошее. Следователь издевался: «На! Читай! Любовница твоя, что ли?» И «пришивал» мне распространение «пораженческих слухов» и «агитацию против советской власти». А я удивлялся: зачем вообще ему показания Сахарных? Оставили в «деле». Зачем?..

Страшно во время следствия было только одно: окно за спиной следователя... Комната на пятом этаже. Стул, стол, следователь, а за спиной его большое окно. Вот там-то, за этим окном, вся мука моя и боль. Следователь не подозревал ни о чём, я лишил его этого удовольствия... Дело в том, что «серый дом» НКВД возвышался как раз напротив сада Дома пионеров. А в саду – домик, а в домике – окошко, а в окошке – свет... Я вижу – это мой дом! Это мой свет. Там Владик... Я его только что купал в тазике...

Господи! Я вынесу и эту пытку! Надо жить! Обязательно надо жить!

## ОМСКИЕ ИТАК

1942 год. Лагерь. ОЛП-2 (Отдельный лагпункт № 2). Обычная, знакомая картина. Такие же бараки, нары... Такие же поверки, разводы, отбои, «шмоны». Такая же пайка и баланда. Людей очень много. Тесно, грязно, холодно, голодно. Зона освещена электричеством, а в бараках – фонари «летучая мышь», железные печки-«временки», трёхэтажные нары, соломенные тюфяки. Люди все кажутся одинаковыми, одинаково грязно, плохо одеты, заросшие. Интеллигентных людей мало, уголовников мало. Такое впечатление, что это даже не люди – отупевший, безвольный «скот». Не принято спрашивать: «За что?» И так ясно, что ни убийц, ни грабителей, ни вообще преступников здесь нет – таких или расстреливают, или содержат в другом месте, тут – трудовой лагерь, «принудилровка». Общие работы – разгрузка железнодорожных вагонов, рытье котлованов под фундамент зданий, строительство овощехранилищ, дорог, насыпей, прокладка канализационных труб.

В лагере много немцев. (В области были немецкие колонии.) Прогульщиков много, «расхитителей». Действовали



строгие указы и военного времени, и от седьмого августа – Указ, по которому за собирание колосков после уборки урожая давали десять лет! Нужны были дармовые рабочие. Слабыми получались эти рабочие... Война, очередной голод. В лагере только лозунги: «Всё для фронта!» А хлеба по 200 граммов давали и баланда – вода и капуста. Пухли от голода. Двигались с трудом. Очень много «отходов» было – не способны были подняться с нар, умирали. Больничный барак не вмещал всех. Пеллагра и цинга косили людей. Не успевали вывозить мёртвых. Стали «активировать» доходяг – выпускать на волю, а они двигаться не могут! Ничего – лишь бы за ворота... Местных всё же иногда подбирали родственники, а иногородние так и оставались там, куда успевали доползти, ими уже другая служба занималась. А жестокость оправдывалась «военным положением в стране».

Идёт, бывало, колонна на работу мимо овощехранилища. Остатки гнилой картошки белеют в темноте подсохшим крахмалом, все уставились с жадностью, смельчаки – один, другой – бросаются, подбирают эту гниль, запихивают в карманы, в рот... В них стреляют – «Назад!» Конвой выполняет свой долг: «Шаг вправо, шаг влево – оружие применяется без предупреждения...» Кто-то там остался, пробитый пулей. Ничего – «активируют». Тоже ведь фронт, только «похоронки» не отсылают родным.

Лагерь недалеко от города, сияние видно, гудки заводов слышно. Развод рано – темно ещё. Слякоть, дождь.

Куда сегодня? Неизвестно. Молча идут. Шлёпают шаги, тяжёлое дыхание, кашель...

И вдруг из темноты далёкий женский голос: «Ко-о-ля-а!», и ещё: «Ко-о-о-о-ля-а!», и ещё один: «Ива-а-ан!» Идущий впереди поднял голову, приостановился: «Ой... Мария! Она...» А там: «Ива-а-ан!» – «Ма-ша-а!» – «Прекратить разговоры!» Пошли дальше шлёпать по грязи... Кончилось «свидание». А всё ещё доносится: «Ива-ан!» – «Ко-о-ля-а!» – «Же-е-еня-а!»

Как они там, бабы, живут? Как справляются? Ребятишки как? Свидания не дают, а письма только через полгода разрешат.

Пришли. Разгружать кирпич! Хорошо. Копать мокрую глину труднее. А ноги в коленках сгибаются с трудом – распухли... Рассвет. «Начинай!» «Давай!» Тяжёлое, болезненное слово это: «Давай!» И въелось это слово бичом таким в нашу речь, в нашу подневольную жизнь! «Давай!» Со всей гадостью лагерной, с матерщиной, через все котлованы и лесоповалы, как призыв к «светлому будущему» – «ДАВАЙ!»

Тут будка-сторожка стрелочника, печка, уголь есть, тепло. Охранник разрешил заходить погреться. Ведро нашли, воду. Собачонку мужики принесли. Заманили её: «Тютя! тютя!» – приласкали, погладили и... убили. Просто – головой об рельс. Ободрали – и в ведро! Пятеро – один варит, остальные работают, по очереди. Соли достали у стрелочника. Сварили, съели впятером всё и бульону полведра без хлеба съели.

Как все завидовали им!! А что? Варёными собаками, говорят, люди туберкулёз лечат. А голодные зеки что хочешь съедят! Зеки – тоже люди!..

Всего месяца четыре пришлось мне побывать на общих работах. Нарядчик «отыскал» меня и направил как чертёжника в мастерскую Туполева. Было нас там десять человек. Два конвоира везли нас ежедневно в пустую контору, где мы чертили разные детали по указанию приходившего к нам изредка бесконвойного инженера. От лагеря пять километров. Двух-трёхчасовая прогулка была очень полезной. На месте мы сами себе варили суп из «сухого пайка». Никак не могли уложиться в норму – съедали за два дня всё, что полагалось на десять. Но утреннюю и вечернюю кашу нам давали в лагере, хлеб тоже. Жили. Туполева мы не видели ни разу, инженера-конструктора фамилию не помню, помню инженера Оттена, который тоже заходил к нам. Он был из ЦАГИ, уже пятнадцать лет в заключении, а в Омский лагерь прибыл недавно. Три месяца я работал чертёжником, пока не организовал культбригаду.

Центральная культбригада создавалась постепенно. КВЧ иногда проводила в клубе мероприятия. Приказ ли какой надо было зачитать, доклад ли сделать, это всегда должно было заканчиваться художественной самодеятельностью. Однажды я выступил с чтением Маяковского и тогда же присмотрел некоторых участников. Меня Кан-Коган, начальник КВЧ, похвалил. А я ему предложил подготовить программу к Октябрьской годовщине. После нескольких удачных

выступлений последовал приказ начальника управления «о создании центральной культ-бригады под руководством з/к Дворжецкого».

Нас совсем освободили от общих работ, выделили отдельный барак, выдали новое обмундирование, разрешили мне подбирать людей из всех новых этапов, составить репертуар и действовать.

И мы начали действовать. Пять. Десять. Двадцать пять человек! Я собрал актёров, музыкантов, литераторов, певцов, танцоров (мужчин и женщин, молодёжь и пожилых) и, не хвалясь, скажу, завоевал и лагерь, и управление. Нас хвалили, поощряли, премировали и, конечно, нещадно эксплуатировали, посылали на «гастроли» во все лагеря и колонии Омского управления. А нам это не мешало. Мы были нужны – это главное!

Мы выступали в бараках, в цехах, на строительных площадках, в поле во время сельскохозяйственных работ, в клубах, на разводах, при выходе на работу и при возвращении людей с работы. Я всё больше и больше влезал в организацию быта заключённых. Это они видели, чувствовали и ценили.

Уже потом, когда наша бригада окрепла, появился «Дядя Клим». Вскоре он стал не только самым популярным номером, но превратился в «клич», что ли, стал «защитником», «символом правды». К «Дяде Климу» обращались за помощью, угрожали «Дядей Климом», ждали его вмешательства и

поддержки. А это был раёшник, сочиняемый мной на местные актуальные, острые темы. Каждый раз заново. Обычно в самом финале выступления я вынимал из кармана бумагу и говорил: «Вот опять получил я письмо от Дяди Клим!» И уже в зале аплодисменты, визг, смех...

Со временем мифический «Дядя Клим» превратился в реальное лицо – в меня. Меня стали называть дядей Климом, писали мне письма, с жалобами обращались...

Острые критические выступления с эстрады (а шутам и комедиантам всё дозволено) помогали где-то улучшить питание, облегчить режим и прочее. Я начисто отключил себя от сознания, что нахожусь в лагере, что я без всякой вины, несправедливо оторван от семьи, лишён свободы, театра... Я жил! Я занимался любимым делом. Я верил, я видел, что мы помогаем преодолевать чувство безнадежности, чувство неволи. Мы воодушевляли людей и сами обрели чувство свободы. Всё для фронта, всё для победы, искренне, в меру сил и своих возможностей!

Лагерь преобразился за два года!

Были созданы два образцовых барака, проведено электричество, получено постельное бельё, сделаны кирпичные печи. Построен ещё один больничный барак. Появились медикаменты и врачи.

Лучшим рабочим на разводе стали выдавать молоко и дополнительный хлеб.

Со временем наша культбригада окрепла и расширилась. Нам помогали начальник КВО и главный бухгалтер управления Мазепа, который создал струнный оркестр народных инструментов. В этом я совершенно не разбирался, но всё же выучился играть на домре-альте. За один только первый год наш коллектив провёл 250 выступлений в клубах разных лагпунктов и, пожалуй, столько же в бараках, в поле и на стройплощадках. Это был воистину колоссальный труд. Приходилось сочинять, репетировать, собирать материал, много читать, писать. Двенадцать новых программ в год! И помнить надо, что мы в лагере, что мы заключённые, связаны, как и все зеки, режимом, строгими законами лагеря – поверки, обыски, отбои, бани, конвои и пр.

Мне была разрешена переписка раз в месяц и передача раз в месяц. Жена передавала мне книги и эстрадные миниатюры, которые я просил. Свидания не было ни разу. Мучительно было постоянно чувствовать свою беспомощность, зная, что они голодают, что Владик болеет, что жена, уходя на работу, запирает ребёнка на ключ, что однажды он съел мыло, что он плохо одет, что в квартире не топят. Мальчику уже пять лет! Мне удалось тут сшить ему два костюма – матросский белый (брючки, френч с погонами, фуражка с крабом) и красноармейский (защитные бриджи, гимнастёрка с погонами, пилотка со звёздочкой, сапожки брезентовые и даже золотая звёздочка героя). Намшили униформу, материала было много, и портные с удовольствием выполнили мою просьбу. Труднее

было передать всё это. Рискнул помочь мне сам начальник КВЧ Кан-Коган.

Здесь, в Омске, Кан-Коган, Софья Петровна Тарсис, инспектор КВЧ, очень помогали. А особенно Мария Васильевна Гусарова, инспектор КВО, не только постоянно снабжала нашу бригаду литературой, материалом, не только была нашей заступницей в трудные минуты, но и выполняла частные поручения и просьбы, не всегда безопасные для неё. Нельзя забывать, что лагерный режим запрещал всякую связь вольнонаёмных, в том числе и начальства, с заключёнными по 58-й статье.

В культбригаде не было плохих людей. Люся Соколова – поэтесса, актриса, много писала по моему заданию – частушки, репризы. Десять лет ей «особое совещание» присудило за стих: «Сталин – это тень, перекрывающая солнце над Россией...» или что-то в этом роде. А бывший редактор «Омской правды» (фамилию не помню, обнаружил я его в очередном этапе, больного, опухшего, почти слепого – очки потерял, зубы выбиты, грязный, заросший – кошмар!) – три месяца мы его откармливали, отмывали, лечили, одевали. Отличный журналист! Десять лет – «особое совещание». Он, видите ли, утверждал, что пакт с Германией был ошибкой. А Василий Пигарев! Талантливейший человек! Инженер. Десять лет – «особое совещание». С 1937 года сидел в разных лагерях. Мастер на все руки, музыкант, композитор, механик, изобретатель, актёр. Когда я освободился, он стал руководителем. Чудесный, добрый, интеллигентный человек!

В Таганроге осталась у него семья... Матвей Фридман – музыкант, великолепно играл на саксофоне, дирижёр нашего оркестра... Получил пять лет от «особого совещания» за то, что однажды вздохнул: «Ой! Когда это кончится!..» Марыся Войтович, польская актриса, в 1939 году приехала в Ленинград навестить родственников, застряла там, когда началась война. Выразила возмущение и была сослана в Ишим, а оттуда в лагерь на десять лет за то, что сочувствовала интернированным польским солдатам. Научилась говорить по-русски. Великолепная актриса, певица, очаровательная женщина. Был у нас ещё прекрасный скрипач из оркестра Эдди Рознера. Бывало, мы заслушивались – до слёз.

Но лагерь есть лагерь. Мы постоянно находились под наблюдением оперуполномоченного и коменданта. И в карцер нас сажали «за нарушение режима», и обыски устраивали нередко, и в этапы отсылали, и на репетициях торчали. Все было. После отбоя и нам не разрешалось передвигаться по территории, задерживаться в клубе, находиться женщинам в мужском бараке. Я как-то собрал всех и читал «Принцессу Грёзу» Ростана:

Люблю мою грёзу прекрасную,

Принцессу мою светлоокую,

Мечту дорогую, неясную,

Далёкую...



Слушали ребята, плакали... Было уже очень поздно. Ворвались оперативники и забрали всех женщин в карцер.

Был ещё случай во время концерта. Я в качестве ведущего объявил: «В зрительном зале находится мой друг Саша Акчурин. Сегодня у него день рождения. Посвящаю ему своё исполнение стихотворения Максима Горького «Песня о Соколе»:

О, смелый Сокол!

В бою с врагами истёк ты кровью!

Но будет время, и капли крови твоей горячей

Как искры вспыхнут во мраке жизни

И много смелых сердец зажгут

Безумной жаждой Свободы, Света!..

Меня тут же после концерта забрали в карцер на пять суток! Ведь Саша Акчурин – враг народа! «Особое совещание», статья 58, срок десять лет. А я ему:

Пусть ты умер, но в песне смелых и сильных  
духом Всегда ты будешь живым примером,  
призывом гордым К свободе, к свету!

Даже начальник лагеря Бондарчук не смог меня высвободить – пять суток! Хорошо, что срок не добавили.

А всё-таки несли мы свет в это тёмное царство, слава богу! Бывало, заходим в барак, грязный, тёмный, вонючий... Фонарь под потолком, дым от печурки, вонь от сохнувших портянок. И людей-то не видно. Лежат, сидят тени какие-то, тишина гробовая. Зажигаем четыре фонаря, баян заиграл, девушка красивая сбрасывает бушлат, остаётся в светлом открытом платье, высоким голосом запекает «Любушку». «Братцы! Ребята! Не падайте духом! Скоро свобода! Надо жить! Нас ждут на воле, жёны, матери, друзья!» И люди открывают глаза, люди, подышающие, встают, поднимаются, улыбаются... Живут! «Недолго уже! Война кончится – всех освободят!»

«Недолго уже!» Война кончилась. Всех не освободили, но мой срок подошёл к концу.

И опять воля! Воля ли?

Кончились мои «пути больших этапов». Но я продолжал ощущать нашу жизнь как большой Лагерь, размером со всю нашу страну. Удивительно успешно разрушили мы до основания старый, традиционный уклад жизни, а построили лагерную систему. И лагерный жаргон, и взаимное недоверие, и нравственный принцип: «Бери всё, что плохо лежит» и «Настучи на другого, пока он не успел на тебя настучать». И ещё – скотское иждивенчество: «Скажут, что надо; дадут,

что надо; пошлют, куда надо; решат, как надо... Молчи!  
Жди! В крайнем случае проси. И будь благодарен!»

«Будь благодарен за всё! Всегда «спасибо!»»

«Спасибо великому Сталину...»

«Спасибо родной партии...»

«Спасибо родному коллективу за то, что вырастил и  
уберёг...»

«Спасибо за наше счастливое детство!» «Спасибо за нашу  
весёлую юность!» «Спасибо за нашу обеспеченную старость!»  
(Хочется сказать: «Спасибо за место на кладбище», но это  
за тебя скажут близкие.)

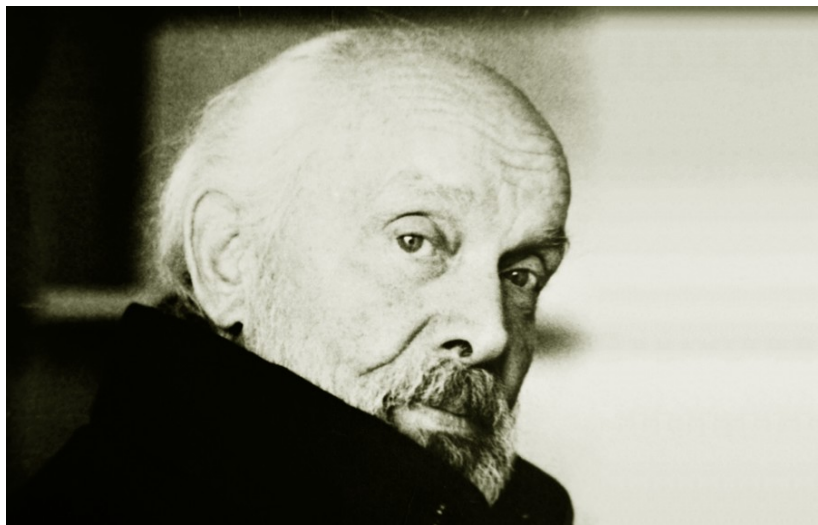
«Спасибо!»?

В то время как каждый человек имеет право на всё это.

В то время как каждый человек – это личность.  
Неповторимая!

Более шестидесяти лет прошло со времени моего  
осуждения «за контрреволюционную пропаганду и агитацию»,  
а я и сейчас готов вести ту же самую «агитацию» во имя  
подлинной свободы и раскрепощения личности.

И, ей-богу, готов пройти заново, если это нам поможет,  
все эти этапы – ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ.



## Вацлав Янович Дворжецкий

(3 августа 1910 года — 11 апреля 1993 года)

---

Дворжецкий В.Я. Пути больших этапов : Записки актёра / Вацлав Дворжецкий ; предисл.: Л. Шерешевский. — Москва : Возвращение ; Нижний Новгород : Деком, 1994. — 117, [3] с. : ил., портр. — 2000 экз.